



Арнольд Цвейг ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДАМАСК



Арнольд Цвейг
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ДАМАСК


(издательство)



проза еврейской жизни



Ж
(жизнь)

Книга написана в 1932 году, после поездки автора в Палестину. Действие происходит в период британского мандата и жестокой межнациональной борьбы. В основе сюжета лежит реальный факт — убийство еврейского писателя де Хаана. Арнольд Цвейг — выдающийся немецкий писатель — выстраивает здесь детективный роман, предоставляя читателю разобраться, какая из версий убийства окажется правдивой. Политика, межнациональная рознь, личные взаимоотношения, множество персонажей, широкая панорама событий того времени — и в центре Ицхак-Йосеф де Вриндт, раввин, поэт и философ, человек со своими страстями, мечтаниями, сомнениями. Почему он стремится в Дамаск и чем закончится это удивительное путешествие?..



проза еврейской жизни

■ ■ ■
проза еврейской жизни

Arnold Zweig
De Vriendt kehrt
heim

Roman

Арнольд Цвейг
Возвращение
в Дамаск

Роман

*Перевод с немецкого
Н. Федоровой*



Москва 2018

УДК 821.112.2

ББК 84 (4Нем)

Ц26

**Издательство благодарит Давида Розенсона,
без которого создание этой серии
не было бы возможным.**

Серия основана в 2005 году

Оформление серии А. Бондаренко

Первое издание на русском языке

ISBN 978-5-9953-0569-9

© Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1988

© Федорова Нина, перевод, 2018

© «Книжники», издание на русском языке 2018

КНИГА ПЕРВАЯ
УЧЕНЫЙ В ОДИНОЧЕСТВЕ

К Тебе со всех сторон летят мольбы,
Ползут молитвы тихо, как улитки.
Какой Ты хочешь от меня судьбы?
Зачем Ты продлеваешь пытки?*

Из четверостиший де Вриндта

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДРУГ ЕГО ДРУЗЕЙ

У Ленарда Б. Эрмина, самого важного человека в тайной полиции (Т. П.) при администрации Иудеи (Южная Палестина), сегодня выдался «европейский» день. Так он называл овладевавшее им время от времени состояние, когда сердце тяжело билось в груди, когда он порой обливался потом, тяготел к вялым размышлениям и буквально всему удивлялся — собственной деятельности, городу Иерусалиму, стране и себе самому.

Не догадываясь, что нынешний день, среда, имеет особенное значение, ибо равнодушный

* Здесь и далее стихотворения в переводе Э. Венгеровой.

взор судьбы упал на одного из его друзей и положил начало переменам для него и многих тысяч людей, — ни о чем не догадываясь, незадолго до полудня Эрмин сидел в самой прохладной комнате дома в Мусраре*, который арендовал у Ахмеда Хоузи-эфенди** — за немалые деньги, но ведь и дом был красивый, с высоким сводчатым холлом, где веяло свежестью фонтана, большой редкости в самом безводном горном городе на свете. Эрмин сидел на низкой скамеечке, трубка не доставляла ему никакого удовольствия, горячие руки он свесил между колен, обтянутых белыми брюками, лицо с закрученными рыжеватыми усами покраснелось, голубые глаза смотрели задумчиво, с упорным сомнением. Он что, сошел с ума? Безусловно. Только сумасшедший мог пять лет изображать из себя агента Т. П. среди камней этого города, покинутого всеми добрыми богами; только сумасшедший мог застрять в паутине, растянутой меж евреями и арабами, меж британцами и мусульманами, меж христианами всех мастей — коптами, эфиопскими монофизитами, протестантами, православными, католиками, — меж консульствами всех народов, пребывающих после строительства Ва-

* Мусрара — арабское название района Иерусалима, граничащего со Старым городом. — *Здесь и далее примеч. перев.*

** Эфенди — господин (тур.).

вилонской башни в таком разладе, какого устыдились бы и собаки или кони. Почему, черт побери, он давным-давно не вышел из здешней игры, в которую Англия включилась как официальный представитель Лиги Наций, только чтобы за это ее со всех сторон подвергали нападкам? Разве нельзя было давным-давно играть в поло где-нибудь в здоровой, лесистой колонии или в Южном Девоншире, жениться и завести детей, как по всем правилам мудрецов подобает мужчине за тридцать? Что, о боги Дальнего Востока, мешало ему делать карьеру в краю великого Будды, под гималайскими кедрами Симлы*, куда он легко мог бы попасть благодаря своим заслугам? Так нет же, он сидел здесь, в Иерусалиме, в городе без воды, без леса, без мира и согласия, где пятьдесят две разные нации и религиозно-политические группировки втайне презирали друг друга, — сидел только потому, что был не в силах расстаться с этим завораживающим клочком голых скал, образующим мост меж пустыней и Средиземным морем, меж Азией и Африкой, одну из трех точек мирового равновесия.

Стоял конец июля 1929 года; синее небо опрокинулось над городом, словно подернутый окалиной стальной колпак; лишь около шести,

* Симла — город в Индии, бывшая летняя резиденция английского вице-короля; ныне — столица штата Химачал-Прадеш.

то есть спустя бесконечно долгое время, из-за гор Иудеи прилетит прохладный морской ветер, и на крышах, под сенью влажных полотняных маркиз, станет вполне терпимо. До тех пор живешь кое-как, с грехом пополам. Можно почитать, можно поспать, а в первую очередь прислушаться к собственным мыслям. Он, правда, ждал доверенного агента, лучшего из своих подчиненных, мусульманина-черкеса Махмуда Иванова, но тот может зайти и в другой раз. Все равно ведь принесет пустяковые будничные новости; главную заботу — нервозность в стране — он затронуть не рискнет. Дождей вот уже четыре месяца практически не было; поздний дождь, *малькош*, как его называют, в этом году пролился рано; в переулках Мусары, а тем паче Старого города попадаешь словно в раскаленную сухую баню. Все нервы в стране напряжены до предела, надо постоянно быть очень и очень настороже: самый незначительный инцидент может привести к безрассудствам. Сезон для фанатиков от политики — одному Аллаху известно, мало ли здесь таких! Как раз сейчас разгорелась бурная дискуссия вокруг Стены Плача, борьба, которая до сих пор велась только на бумаге, через статьи журналистов, юридические документы, а изначально через писания духовных деятелей, с молитвами и проповедями обеих сторон, евреев и арабов, — для чужа-

ков проблема выглядела нелепо, и администрация относилась к ней так же, однако на самом деле это взрывчатка, да-да, именно взрывчатка, поскольку могла запалить религиозный фанатизм обеих группировок. А он, Эрмин, был не в силах растолковать это «наверху»! «Люди вот уже месяцев девять заняты этой игрой, и ничего не случилось; пусть она и впредь удерживает их от более опасной склоки», — смеясь, ответил Робинсон, когда он последний раз пытался его убедить, хотя невообразимый шум определенных арабских газет по поводу угрозы для Храмовой площади отправлял иерихонские трубы в разряд вполне невинных инструментов. (С иерихонскими трубами Л. Б. Эрмин просто не мог расстаться, хотя профессор Гарстанд давным-давно доказал, что они — такой же красивый вымысел, как рог Роланда, свирель Марсия и лира Орфея.)

Ленард Б. Эрмин вздохнул, выбил трубку, достал из шкафчика мягкую бумагу, различные иглы и флакончик спирта и принялся за тщательную чистку. Разобрал трубку на части — свилеватую коричневую головку, черный чубук из отличнейшего эбонита, с серебряной канюлей внутри, которая посредством трубочек и перегородок ловко улавливала неприятные табачные смолы и охлаждала дым; вскоре в помещении за-

пахло спиртовыми испарениями и крепким желтым никотином.

Времена, может быть, и скверные, но, безусловно, из самых захватывающих, какие дано пережить человеку. Англия боролась за обладание Индией, без шума, без большого насилия, всеми средствами зрелой власти. Те дни, когда английский генерал, например в Амритсаре*, мог защититься от демонстраций индусов только огнем пулеметов, — такие идиотские дни, надо надеяться, навсегда канули в прошлое. И совсем необязательно сразу же чуют повсюду большевиков и руку Москвы. Коль скоро мистер Ганди** со своими индийцами хочет выйти из английской мировой империи и вернуться в дни детских прялок, надо вести промусульманскую политику, причем по всей линии. Так они теперь и поступали, и их эксперты — Л. Б. Эрмин кротко усмехнулся, протаскивая сквозь чубук оплетенную проволоку, как трубочист, прочищающий фабричный дымоход, — полагали, что сумеют заручиться поддержкой мусульман, если отступятся от сионистов. Чтобы заниматься на Вос-

* Амритсар — город в индийском штате Пенджаб; здесь находится знаменитая святыня сикхов Золотой храм, место постоянного паломничества.

** Имеется в виду Махатма Ганди (1869–1948), «отец индийской нации», стоявший во главе национально-освободительной борьбы.

токе политикой, нужно много мудрости, а она, увы, не всегда дана тем, кому более всего необходимо. Ах нет! Англия, сражаясь в бедствиях войны, как Роланд в Ронсевальском ущелье, многовато посулила — арабам, евреям, всему миру — и теперь, когда война выиграна, а Европа с помощью Франции превращена в сумасшедший дом, должна благоприлично приготовить обоим партнерам малую толику исполнения и уйму разочарования. Евреи, точнее, еврей-сионисты, конечно, заручились словом Великобритании, что смогут сделать Палестину родным домом еврейского народа, это слово им было дано в знаменитом послании престарелого лорда Бальфура*, которое с тех пор именовалось Декларацией Бальфура. Арабы желали свободной Аравии под собственными правителями. Казалось, арабам недоставало ума западноевропейских евреев, которые по мере сил развивали страну и в лице профессора Вейцмана** ловко и

* Бальфур Артур Джеймс (1848–1930) — британский политический деятель, консерватор; занимая пост министра иностранных дел, стал автором так называемой Декларации Бальфура (1917) о создании еврейского «национального очага» в Палестине.

** Вейцман Хаим (1874–1952) — один из лидеров сионистского движения, в 1920–1931 гг. президент Всемирной сионистской организации, способствовал принятию Декларации Бальфура; впоследствии первый президент Израиля.

упорно продвигали дело сионизма невзирая на кризисы, коварные происки и даже кровавые мятежи. И лавировать во всем этом здесь адски трудно.

Ленард Б. Эрмин, в годы войны капитан британской армии, удовлетворенно осмотрел чистую трубку, собрал ее и положил в шкаф — пусть отдохнет. Потом набил другую и вышел во двор, чтобы с помощью зажигательного стекла раскурить ее от солнца. Должно же хоть на что-то согдиться раскаленное древнее светило там, наверху, которое так беспощадно жгло белый известняк Иерусалима, его дома, его мостовые. Едва только выйдешь на солнце, тебя мгновенно бросает в пот, глотка пересыхает, скорее в прохладный холл, в затемненную комнату, и пусть немедленно несут горячий чай с лимоном, самый охлаждающий напиток в такие дни. Этим и некоторыми другими познаниями капитан Эрмин обязан долгим месяцам, когда по окончании войны как член межсоюзнической офицерской комиссии оберегал нейтралитет Вильны, города в Западной России, пока туда не явился со своими эскадронами польский генерал Зелигорский и не реквизировал Вильну для Польши. С той поры Эрмин кое-что понимал в приятности горячего чая летом и еще больше — в менталитете восточного еврейства, а следовательно, и тех евреев, что стремились в Палестину, дабы ее

развивать. Этим он отличался от почти всех своих коллег в английской администрации, в консульствах и в нескольких ротах жандармерии, какими государство-мандатарий* удерживало земли у Суэцкого канала. Они были людьми особого склада, эти русские или польские евреи, каверзная камарилья для западноевропейцев, а тем паче для британцев, и тот, кто их понимал, обладал преимуществом в здешней игре сил.

Когда подали чай, пришел и Иванов, черкес, мужчина с седой бородой клинышком и смеющимися глазами, светлыми на загорелом дубленом лице. Эрмин придвинул ему сигареты и сахарницу, которой тот не преминул от души воспользоваться. А потом, как настоящий русский, прихлебывал чай, курил и испытующе рассматривал лицо начальника, с которым работал уже четыре года. Происходил он из кавказской семьи, одной из тех, каких султаны целыми деревнями расселили в пограничных районах давней турецкой империи, людей верных, надежных и, невзирая на одинаковую веру, не питавших симпатии к местным, коих считали туговатыми.

Иванов припас для начальника неприятную весть. И нашел его в «европейском» состоянии,

* То есть Великобритания, поскольку в 1920–1947 гг. Палестина, по решению Лиги Наций, была мандатарной английской территорией.

сиречь без душевного подъема и невозмутимости, которой мужчинам на Востоке необходимо побыстрее научиться, если они не хотят, чтобы их обратили в бегство и прогнали обратно за море. Может, отложить сообщение на завтра? Пока что он толковал о снижении уровня воды в цистернах. И о том, что в восточной части Старого города снова нечем дышать из-за мусоросжигательного предприятия, в свое время построенного в долине Кидрона по распоряжению полковника П. У. Бейти. Иванов знал, как сильно этот вонючий завод, возведенный на окраине города чисто по-армейски, без учета условий и последствий, побуждал эфенди смеяться и протестовать, ведь, являя собой символ бестолковой цивилизации, он при частом восточном ветре неизменно становился поводом для ехидных шуток.

Но Эрмин легонько отмахнулся. Нынче ему не до шуток.

— Ты наверняка что-то разведal, Иванов, — зевнул он, — выкладывай, а потом дай мне поспать.

Иванов доложил. Неслыханно дерзкий дорожный грабеж уже несколько дней доставлял полиции и правительству массу хлопот. Не то чтобы Эрмин добродетельно негодовал или страна казалась по этой причине особенно опасной: те же достойные сожаления борцы за на-

сущный хлеб, которые в больших городах Запада зарабатывали на жизнь, вскрывая резаками и кислородными горелками чужие сейфы, в Палестине орудовали на больших дорогах, причем по многовековой традиции. Но, к несчастью, на сей раз нападению подвергся караван из тринадцати автомобилей с туристами сплошь британского происхождения. В тщательно выбранном месте между Иерусалимом и Мертвым морем, на чудесном шоссе, которое меньше чем за час спускается на тысячу двести метров, машины остановил натянутый трос, и несколько закутанных в белое мужчин, вооруженных револьверами и ружьями, без малейшего насилия, с величайшей учтивостью дочиста обобрали пассажиров всех тринадцати автомашин — «да как же они умудрились выехать на тринадцати-то машинах, верно, эфенди?». Грабителями были, вероятно, бедуины из весьма бедного племени, потому что взяли они не только драгоценности, деньги и сапоги, но и перочинные ножи, зажигалки, даже коробки со спичками — словом, все, что может пригодиться современному человеку, а затем исчезли во мраке, как говорили, в Трансиордании*. Эта страна за Иорданом с собственным сувереном придала делу политический оттенок и крайне затруднила расследо-

* Трансиордания — так до 1946 г. называлась нынешняя Иордания.

вание. Чиновник Политического отдела (П.О.) уже посетил эмира Абдаллаха и получил от него все и всяческие заверения, кроме твердого обещания действительно поймать грабителей. Однако Иванов и его начальник проверяли иную версию, о которой говорили на базарах и согласно которой грабителями действительно были бедуины из-за Иордана, а вот организаторами и главными выгодоприобретателями — жители Иерусалима, так сказать бизнесмены. В качестве оных называли троих — канадца, грека и еврея; теперь нужно было отыскать какую-нибудь улику, к примеру выставленный на продажу предмет из добычи, или поймать хотя бы обрывочек молвы. Иванов усердно поработал в греческих, арабских и еврейских кварталах Старого города, якобы ловил карманника, который-де в толпе у еврейской Стены Плача украл у некоего шведа кредитное письмо, и теперь оживленно рассказывал о всяких мелких намеках на малоприятных юных знакомцев и родичей, какие ему нашептали. Да, в Иерусалиме хватало молодых мазуриков, бездельников, любителей зашибить денег, не работая. Прилежные окрестные феллахи распевали про них песню, когда везли в город овощи, баранов и тканое рукоделие своих жен.

Эрмин слушал рассеяннo, у него сложилось определенное мнение об этом деле, которое,

впрочем, не слишком его интересовало. Состоятельные туристы недобровольно внесли вклад в развитие страны и обеспечили бедуинам крупное пожертвование на бедность. Разумеется, преступников надлежит упрятать за решетку, и в конце концов их схватят.

Иванов вошел в раж — до такой степени, что напрочь забыл свои давешние сомнения.

— Да, вчера я случайно услышал еще одну мелочь — каким образом, рассказывать почти неприлично. Она касается твоего голландского друга, эфенди, доктора де Вриндта; тут могут быть неприятности. Я вышел из кофейни на Суке, неподалеку от синагоги Хурва, хотел выйти из Старого города через Сионские ворота, подышать немного свежим воздухом и на автомобиле вернуться домой. Даже мои ноги уже не выдерживают целый день на иерусалимской мостовой. Поблизости от ворот у меня прихватило живот; ну, в таком случае приходится сесть на корточки. Местность уединенная, темная, не слишком людная; стало быть, ничто не мешало мне спрятаться в уголке стены. И пока я тихонько сидел там, мимо прошли двое мужчин, и я услышал, о чем они говорят. Один вопросительно назвал имя твоего друга, второй сказал: «Он самый. Кровь этой собаки очень скоро прольется».

Л. Б. Эрмин поднял голову. Безвольную вялость вдруг как рукой сняло.

— На каком языке? — спросил он. — На иврите?

— На арабском, — ответил агент.

В Иерусалиме преобладают три языка: английский, на котором говорят туристы, чиновники и те из местных, что желают быстро получить от них правильные сведения; иврит, что в ходу среди евреев, особенно среди тех, кто помоложе, на улице, повсюду в общественной жизни; среди же неевреев распространен арабский.

Иванов слегка удивился, что мистер Эрмин сперва спросил про иврит.

— Нет, эфенди, — поспешно подтвердил он, — эти двое говорили на арабском, причем один — на очень хорошем. Осмелюсь обратить твое внимание на то, что твой друг совершает неосторожные поступки. Мы не в Египте, господин, дружба взрослого мужчины с арабским мальчиком здесь не в порядке вещей, и некоторые семейства не одобряют действий своих отпрысков.

Эрмин кивнул. Вот, значит, как. В сущности, удивительно, что на это обратили внимание так поздно. Никого особо не интересовало, что за дружба связывала доктора де Вриндта с мальчиком Саудом. Вдобавок кроме сотрудников тайной полиции мало кто видел этого мальчика, ведь Иерусалим — город из городов, сложный, запутанный лабиринт, головоломка; где-нибудь

в другом месте после четырех лет службы трудно найти незнакомый уголок, здесь же постоянно натыкаешься на все новые неизвестные закутки, входы в большие дома, маленькие лесенки, ведущие в не замеченные до сих пор дворы. В больших городах Запада подростки садятся на велосипед и через пять минут попадают в такие места и в такую обстановку, о которых их родители даже не подозревают, а в Иерусалиме пять минут быстрым шагом — и человек, особенно мальчик, исчезает как по волшебству. Хорошие семьи порой негодовали, когда на свет божий выплывало что-нибудь об этой тайной жизни их сыновей и дочерей.

— Стало быть, ты не знаешь, кто вел разговор, Иванов? — Эрмин встал и даже сделал несколько шагов, средних шагов стройного мужчины среднего роста с плечами спортсмена.

— Они скрылись, прежде чем я сумел пойти следом, — пристыженно сказал Иванов. — Но готов съесть на обед свой кинжал, если один из них не принадлежал к числу людей образованных.

— Придется выяснить, кто, собственно, этот мальчик Сауд и что у него за родня, — сказал Эрмин, остановившись, — эти слова могут возыметь последствия.

— Скверные последствия, — серьезно подчеркнул Иванов, — они были сказаны не вскользь.

Хотя злое слово ночью у стены Сионских ворот еще не клятва...

Эрмин кивнул. Вспышки эмоций здесь длились недолго и либо приводили к действиям, либо развеивались без следа.

— Все ж таки, эфенди, надо охранять твоего друга, как красавицу из гарема, и он поступит мудро, если прислушается к предостережениям.

Куда подевалось «европейское» состояние мистера Эрмина? С кресла поднялся мужчина, который завидел опасность и был вполне готов к встрече с нею. Солнце стояло в зените, прохлады в сводчатом холле не прибавилось, тяжесть лета давила по-прежнему — только не на него. Поверх сидящего Иванова он смотрел сквозь стены на улицу Пророка, где в одном из высоких домов жил доктор де Вриндт, с которым он любил поспорить, побеседовать, сыграть в шахматы. Этот голландский иудей был едва ли не отщепенцем, неловкий во многом, ожесточенный противник общепринятых настроений и взглядов, а именно сионистских, которые трактовали еврейство политически и намеревались формировать его, оставляя религиозную жизнь в приватной сфере. Он же, де Вриндт, принадлежал к лидерам тех евреев, которых привела в Святую землю прежде всего набожность, причем к самому ортодоксальному их крылу. Ненависть слушате-

лей, студенческой молодежи, вынудила его и его начальство прекратить лекции, какие он, блестящий юрист, читал о сложных проблемах турецкого (действующего) права; после известных договоренностей с хиджазским* королем Хусейном, иракским королем Фейсалом и трансирданским эмиром Абдаллахом, о которых он сам сообщил в двух иностранных газетах, ему пришлось столкнуться с бойкотом со стороны ведущих кругов сионистского еврейства, заклеивших его как вредителя в сфере политического строительства еврейской родины; его заявления и поведение по случаю визита, который нанес в библейский край не слишком симпатизирующий евреям лорд Нортклифф, газетный король английских правых, снискали ему ненависть рабочих. Но этот упрямец, И.-Й. де Вриндт, стоял на своем. Не простили ему и две статьи в амстердамском «Телеграфе», сдержанно излагавшие правовую позицию арабов в полемике о Стене Плача, — не простили, даже когда выяснилось, что лондонские юристы подтвердили каждую его фразу. А теперь еще и арабы жаждут его крови, так сказать для полноты картины?

Иванов усмехнулся про себя. Он любил такое выражение на лице шефа, когда хищный соколи-

* Хиджаз — в 1916–1925 гг. формально независимое государство в Аравии; ныне — провинция Саудовской Аравии.

ный взгляд вдруг подчеркивал легкую горбинку на носу. Здорово он его распалил. А ведь сдуру хотел умолчать об опасности, грозящей доктору де Вриндту.

— Сделай-ка для меня один телефонный звонок, Иванов, — задумчиво проговорил Эрмин, — аппарат все там же, возле кровати. Позвони в больницу на Яффской улице и спроси у доктора Глускиноса, когда я мог бы сегодня к нему зайти. Лучший друг де Вриндта, — пояснил он.

Черкес кивнул и вышел.

Наморщив лоб, заложив руки за спину, Эрмин стоял возле тоненькой струйки фонтана. Подытоживал два пункта своих размышлений: во-первых, почему пойдет именно к Глускиносу, а во-вторых, почему сперва решил, что слова об убийстве были сказаны на иврите. К Глускиносу он пойдет, потому что джентльмену неприятно заводить с человеком разговор о его самых деликатных жизненных обстоятельствах; для этого Бог придумал духовных лиц, врачей и, пожалуй, писателей, а не полицейских и бывших солдат, которым подобное вмешательство столь же отвратительно, как конокрадство. А вот насчет иврита он спросил непроизвольно, потому что де Вриндт упорно не желал принимать в расчет чувства своих соплеменников. Положение евреев в Палестине, особенно сионистов, было политически ненадежно из-за сопротив-

ления арабов, безразличия администрации, равнодушия, даже страха широких еврейских масс во всем мире перед сионистской идеей, которая, как им казалось, вредит их нынешнему гражданству; стало быть, денежных средств мало, развитие слишком медленное, тормозящая правительством репатриация, а при том беспредельная жертвенность горячих молодых парней, которые стремились в страну, чтобы, преодолевая невероятные трудности, превратить малярийные болота в хлебные нивы, пески — в апельсиновые рощи, голые склоны — в виноградники, ухабистые проселки — в современные асфальтированные дороги, под палящим солнцем и морозными ночами, годами в палатках, под проливными зимними дождями и в иссушающий летний зной. У них были основания ненавидеть человека, который вдобавок ко всем сложностям напряженнейших времен оказался еще и противником в их собственной среде и в каждом своем высказывании заявлял прямо противоположное тому, что думали, желали, пылко отстаивали они сами. Однако же грозили ему не они, а арабские родичи некоего мальчика. Странны пути бытия.

— Доктору удобно ровно в четыре, до начала общего приема, — доложил вернувшийся Иванов. — Не слишком жарко для тебя, эфенди?

Эрмин рассмеялся:

Арнольд Цвейг. Возвращение в Дамаск

— Чертовски жарко, поэтому ты зальешь в радиатор свежую воду и проследишь, чтобы машина все время стояла в тени.

— Согласен. — Иванов в шутку козырнул, приложив руку к каракулевой шапке. Редко «европейское» состояние шефа развеивалось так легко и быстро.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НЕУДАЧА

Приемная казалась пустой, сумеречно-темной, беленые стены поддерживали готический свод четырнадцатого века, арки его, пересекаясь, создавали над головой красивый узор. Темно-коричневая мореная скамья опоясывала все четыре стены под узкими, как бойницы, оконными проемами, дополняя впечатление небольшой монастырской ризницы или приемной настоятеля времен короля Балдуина.

В одном углу что-то темнело, наподобие вороха одежды, забытого кем-то из посетителей.

— Добрый день, — сказал Эрмин, — если тут кто-то есть.

Ворох отозвался смешком, радостным хихиканьем развеселившегося старика, за которым последовал короткий грудной кашель.

Потом Эрмин увидел, как ворох поднес к губам платок, взглянул на него и молча спрятал. В зеленом свете, проникающем сквозь маленькие толстые стекла в свинцовых переплетах, об-

наружился старик с кофейного цвета лысиной, с не слишком длинной седой бородой и веселыми глазами — работяга в холщовых штанах и полусапожках. Откуда-то Эрмину был знаком этот красивый профиль, по-женски изящный рот, крупный нос, и он вспомнил: уже несколько месяцев этот профиль украшал витрину молодой австрийки-фотографа на Яффской улице, она делала отличные снимки и быстро приобретала популярность. Ворох одежды оказался Н. Нахманом, идейным вождем палестинских рабочих, к которому прислушивались двадцать-тридцать тысяч евреев-рабочих и часть лучшей еврейской молодежи по всему миру. Он сидел, наклонясь вперед, совершенно расслабленно, устремив на Эрмина пристальный взгляд человека, имеющего дело с непреходящим в природе, — взгляд моряка или крестьянина. И вдруг Эрмин сообразил, почему старик сидит здесь и что он, Эрмин, правильно сделал, сунув трубку в карман. Рабочий Нахман страдал чахоткой; чахоточным он и приехал сюда сорок лет назад из Восточной Галиции. По расчетам врачей, ему давным-давно полагалось умереть. Эрмин непринужденно подошел к нему, назвал свое имя, сказал, что очень рад. И надеется, что доктор Глускинос делает все возможное, чтобы сохранить здоровье человеку, который оказывает стране столь неоценимые услуги.

Старый еврей хихикнул: не он оказывает услуги стране, а страна ему; он здесь потому только, что товарищи отослали его с Изреэльской долины, чтобы он себя поберег.

— Хотят собрать урожай без меня, понимаете? Будто во мне еще есть что беречь. Глускинос вам подтвердит. — Посерьезнев, он добавил: — Не хочу прежде времени сойти в могилу. Всякий человек с покоем в сердце нынче не менее важен для страны, чем вода.

К сожалению, арабские газеты иного мнения, сказал Эрмин, разглядывая свои пальцы, которые с удовольствием нырнули бы в карман за трубкой. Страх перед тихой агрессией сионистов был отчетливо замечен повсюду; и полемика о Стене Плача, тревога о Храмовой площади не давали общественности покоя, толкая на опрометчивые поступки даже таких незаурядных людей, как доктор де Вриндт. Тут крайне необходимо внести ясность, крайне необходимо и крайне трудно.

Н. Нахман нахмурил брови, глядя в пол, черно-белым плиточным узором напоминавший шахматную доску. О господине де Вриндте он предпочитает промолчать; патологические отщепенцы лишь запутывают все, к чему прикасаются. А вот страх арабов перед евреями — действительно проблема. Он реален, этот страх, и потому представляет собой большую сложность.

— Не то чтобы они имели основания бояться нас, поймите. Но если люди боятся друг друга, это ведь факт, верно? Страх, живущий в человеке, в высшей степени реален, а испуганная лошадь сбивает с ног всех подряд, тут без разницы, что ее напугало — подлинная опасность или тень. Арабы боятся евреев, евреи — арабов, и ни те ни другие не боятся англичан.

Эрмин насторожился. Не зря он говорит сейчас с человеком, научившимся думать прежде, чем он смог отличить рожь от пшеницы.

— Вот как? — спросил он.

— Да, вот так, — отвечал Нахман, — увы. Феллахи и бедуины, когда слышат о наших земельных приобретениях, чувствуют, как ремень затягивается у них на ребрах, не дает дышать им и их детям; евреи же, глядя на численный — четырехкратный — перевес арабов, на ружья бедуинов и их кинжалы, чувствуют себя незащищенными, боятся, что никогда не станут в этой стране массой, большинством, которое сумеет себя защитить. Мы ведь не чувствуем защиты ваших людей, мистер Эрмин. В жандармерии служит слишком много арабов и слишком мало евреев. А сколько британских солдат Англия держит здесь, на этой земле? Три сотни против шестисот тысяч арабов?

Эрмин покраснел. Он не рискнул назвать подлинную цифру. Белый гарнизон Палестины

состоял из шести офицеров и семидесяти девяти томми* — рота охраны Верховного комиссара**.

— Англия доверяет благоразумию обеих сторон, евреев и арабов.

— Не слишком ли она доверяет другой стороне? Мы, живущие здесь уже давно, много чего повидали. И все-таки только своими руками и своими жизнями строим эту страну, для нас и для них. Вот так, — повторил он.

И Эрмин знал: рабочий класс этой страны вправе так говорить.

— А история со Стеной Плача? — спросил он. — Бесконечная полемика с ее метаниями то в религию, то в юриспруденцию — что вы о ней думаете?

Маленький согбенный человек выпрямился. Теперь все в нем просветлело, он выглядел вождем, беспощадным и решительным.

— К этому мы касательства не имеем, мистер Эрмин. И не понимаем, как все это может так долго продолжаться. Впору заподозрить здесь некую мощную заинтересованность в раздорах. Религиозный фанатизм самому мирному феллаху застит глаза. Понимаете? Тогда его страх обретает плоть, и кинжал сам собой выскакивает

* Прозвище британских солдат.

** Верховный комиссар — глава британской администрации в Палестине.

из ножен. Нашим богобоязненным евреям невыносимо, конечно, когда им мешают отправлять богослужение в этом священном месте Иерусалима. Но лишь для возмущенных граждан, студентов и ребят из молодежных союзов это главный политический вопрос. Политика престижа, знаете ли, а мы не желаем иметь к ней касательства.

Дверь кабинета врача бесшумно открылась, на пороге возникла полноватая фигура в белом халате и белой шапочке — доктор Глускинос.

— Вам придется еще немного подождать, мистер Эрмин, — сказал он, — господин Нахман пришел первым.

Однако Н. Нахман заявил, что пропускает Эрмина вперед. Здесь тихо и прохладно, хорошее место, чтобы поразмыслить, сделать кой-какие выводы. А если ему дадут листок бумаги и карандаш, он, пожалуй, даже набросает небольшую статью, которую подсказал ему разговор с мистером Эрмином.

Доктор Глускинос — линзы очков увеличивали его глаза — спросил Эрмина, на что он жалуется.

В ответ Эрмин улыбнулся и согнул в локте сильную боксерскую руку. Он пришел не как пациент. Он пришел к другу доктора де Вриндта, ведь как врач тот имеет право коснуться доста-

точно интимных сторон жизни ученого. И, осторожно подбирая слова, изложил обстоятельства, как их себе представлял по сообщению Иванова и по тому, что знал сам.

Доктор Глускинос побледнел, Эрмин давно не видел его таким.

— Замолчите! — Врач протестующе вскинул руки. — Что вы такое говорите! Доктор де Вриндт — человек глубоко верующий!

— Мне очень жаль, если я вас напугал, доктор, — ответил Эрмин. — Вы полагаете, одно с другим несовместимо? Уверяю вас в обратном. Человеческое естество подчиняется иным законам, нежели дух.

Глускинос утер лоб, медленно отодвинулся от письменного стола к стене.

— Поверить не могу, — простонал он, — я вам просто не верю.

Эрмин пожал плечами. Смотрел на врача, в котором, судя по всему, обыватель ненадолго победил профессионала.

— Прошу вас, взгляните на это с медицинской точки зрения, — упрямо продолжил он. — Если речь идет о недуге, которым страдает доктор де Вриндт, то его религиозность ничего изменить не может. А это и есть недуг, со смертельным исходом, если мы ничего не предпримем. Я обращаюсь к вам, потому что от вас ему, вероятно, будет легче принять совет... в таком деле.

Доктор Глускинос, сам человек весьма небожрый, по-прежнему стоял у стены с отсутствующим видом.

— Как же он, наверно, страдает, — прошептал он, — чего стоит ему бороться с этим! Вот почему у него так плохо с сердцем, — сказал он погромче. Потом в глубокой задумчивости прошел к умывальнику и принялся намывать руки, словно прикоснулся к чему-то нечистому. Повернув голову к Эрмину, так что полное, круглое лицо с глазами навывкате и горбатым носом почти устрашающе нависло над массивным плечом, сказал: — Вы правы, мистер Эрмин, я ему не судья. Но вмешиваться я тем более не могу.

— Доктор, — спокойно сказал Эрмин, — оцените ситуацию как таковую. Двое арабов, никому из нас не известных — во всяком случае, пока, но касательно одного я надеюсь вскоре кое-что услышать, — договариваются убить еврея. По-вашему, они станут долго раздумывать? Эти люди — большие дети, необузданные мальчишки без тормозов, в два счета ударят человека кинжалом в спину. Вероятно, задним числом они будут отчаянно сожалеть, недоумевать, как могли совершить такое, на диво благородно просить прощения и кончат на виселице. В спокойные времена это частное убийство, и только. Ныне же оно может стать запальной искрой, которая взорвет арабов и евреев как мину. Мы

сделаем все, чтобы удержать под контролем арабскую сторону; вы, как друг и врач, должны сообщить доктору де Вриндту, что в ближайшие дни ему нужно соблюдать крайнюю осторожность и даже мухи арабской в квартиру не впускать, а лучше всего незамедлительно уехать. Разве это так много? Разве вы не можете прямо сейчас отправить его на две недели в горы?

Доктор Глускинос усталой походкой вернулся к письменному столу, стал рядом с креслом Эрмина — маленький толстяк, ненамного выше сидящего Эрмина.

— Вы поняли меня превратно, мистер Эрмин. Я отказываюсь не из-за себя. Просто я не могу травмировать де Вриндта, сообщив ему, что знаю об этом. Он же со стыда сгорит, будет глубоко уязвлен... Нет, надо найти другой выход. Мужчины, которые несколько раз в неделю вместе молятся, такого не вынесут, поймите! Вы должны сами пойти к нему, пусть первый удар исходит от вас. Вы полицейский, вы обязаны узнавать секреты и молчать о них. Конечно, я поддержу вас — без вопроса! Как только увижу его завтра за столом. Ему необходимо уехать в горы... все, что в моих силах... разумеется. — Он едва не лепетал. — Поезжайте к нему прямо сейчас, расскажите обо всем. Он упрямец, любит покой и не захочет устраивать себе неприятности. Угроза убийства, именно теперь! Вас он

послушает, а я подскажу ему повод. Ведь наружу, Боже упаси, ничего не должно просочиться. Иначе этот злосчастный всех нас погубит!

Эрмин медленно встал, размял колени, расправил плечи. Всех нас — под этим доктор Глускинос подразумевал в первую очередь маленькую общину рабби Цадока Зелигмана, самое консервативное крыло ортодоксального еврейства, которое политически представлял де Вриндт. Однако Эрмин понял: дело вернулось к нему. До чего же иной раз противно быть полицейским, подумал он.

— Как бы то ни было, доктор, вы правы. Всегда что-нибудь да упустишь; но в любом случае мы с вами союзники.

Они пожали друг другу руки, врач проводил Эрмина до двери, не той, в которую они вошли.

— Пожалуй, приму немножко брома, — пошутил Глускинос с кривой улыбкой, — а уж потом прослушаю легкие нашего доброго Нахмана. Теперь что ни день, то беспокойства. — Он указал Эрмину дорогу: вниз по длинному коридору, потом налево и в вестибюль.

Будь Л. Б. Эрмин просто полицейским, он бы, несомненно, меньше занимался предотвращением возможного преступления, чем расследованием уже случившегося. По крайней мере, так он ворчливо твердил себе, когда остановился и наконец-то раскурил трубку. Он вновь чув-

КНИГА ПЕРВАЯ. УЧЕНЫЙ В ОДИНОЧЕСТВЕ

ствовал себя капитаном Эрмином, командиром ротной позиции, отвечающим за нее и две сотни человек, и знал, что предотвратить легче и стоит меньше, нежели потом восстанавливать. Солдат всегда солдат, всегда на посту. Де Вриндт был в эту минуту не кем иным, как рядовым из его роты, который наделал глупостей и которого надо спасать от беды. Словом, ничего не попишешь: вперед, к мистеру де Вриндту, напрямиком в его частную жизнь!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Предостережение

В рубашке и брюках из светлого льняного полотна, в плоских бедуинских туфлях из буйволовой кожи на босу ногу поэт Ицхак-Йосеф де Вриндт сидел за столиком, придвинутым к окну, и чистил монеты, превосходные экземпляры эпохи римских императоров и еще более древние. Сейчас, в разгар сухого сезона, торговцы со своими запасами вовсю наседали на коллекционеров; ведь когда дождь обрушивался на горы и размывал в долинах почву, феллахи во время вспашки находили множество монет, в иных местах земля прямо-таки извергала их. И тогда они дешевели...

Поэт Ицхак-Йосеф де Вриндт наклонил голову с рыжеватыми волосами и лысиной, прикрытой кипой из желтоватой и черной козьей шерсти, приблизил круглое лицо с печальными глазами к монетке, которую долго тер хлопчатобумажным лоскутом, смоченным в оливковом масле. «*Judaea Capta*», разобрал он, «побежден-

ная Иудея»; Веспасиан распорядился отчеканить эту монетку в городе Риме, впоследствии оккупационные легионы привезли ее сюда, и она попала к здешним людям. Приоткрыв рот, он вполголоса произносил короткие фразы; как все, кто много времени проводит в одиночестве, он разговаривал сам с собой, потребность высказаться была столь же велика, сколь и желание, чтобы никто ему не докучал.

— Я бы с легкостью оживил тебя, Тит, сын Веспасиана, предмет любви и восхищения всего света, тебя, твоего кровожадного отца и не менее кровожадного брата... Но я не стану. Пусть кто-нибудь другой обломает себе зубы... Если бы я наконец нашел время сразиться с большой рукописью, а не с противниками Торы, с евреями-еретиками, с этими собаками, которые рады променять наше огромное духовное достояние на... демократию! — С коротким смешком он поскреб острой палочкой слоновой кости пати-ну большой, вроде как серебряной, монеты. — Уж я-то знал, какого римского императора себе выбрал: вот этого, имевшего наглость запретить нам, евреям, носить бороду, какую носил сам, хотел вынудить нас нарушить закон! Его, Адриана*, тебя! — Он плюнул на монету, стер плевком

* Адриан Публий Элий (76–138) — римский император с 117 г. из династии Антонинов; в Иудее подавил антиримское восстание Бар-Кохбы (132–135).

тряпочкой. — Александрия, тринадцатый год правления, за два года до восстания, да-да. Хотел бы я знать, почему он велел отчеканить эту драхму, с двумя руками на реверсе, с надписью «patèr patrídos», отец отечества. Да-да, старина, хорошо же ты выглядишь со своим носищем, бородой и решительными глазами. Твои солдаты нас перебили, но проку тебе от этого не было, тебя нет, а мы здесь и ведем давнюю борьбу, как и в твоё время, когда ты воздвигал над Египтом божественную красоту отрока Антиноя*.

Он подпер голову рукой, перебирая пальцами редкую рыжеватую бороду, в которой уже виднелась седина, глубоко вздохнул и неожиданно улыбнулся.

У входной двери позвонили; де Вриндт вздрогнул, нахмурился, прошаркал к двери. И тотчас обрадовался, поспешно провел англичанина в комнаты и обещал сразу же сварить кофе. Оба они достаточно долго прожили на Востоке и знали, что отказываться от чашечки кофе ни в коем случае нельзя; вдобавок сдобренная сахаром кипящая вода уничтожает куда больше содержащихся в зернах вредных веществ, чем при европейском способе приготовления кофе. Л. Б. Эрмин попросил разрешения снять пиджак

* Антиной (?-130) — древнегреческий юноша, любимец императора Адриана, обожествленный после смерти.

и, сняв его, расположился на диване, прислонясь к прохладной стене и наблюдая, как де Вриндт снует туда-сюда, заваривая в медной турке давно смолотый кофе, а затем подает его на стол. Цицит* на рубашке — своего рода бестолковый защитный нагрудник, каждый раз думал Эрмин, вспоминая войну, — эти длинные белые шелковые нити, разлетаясь, повторяли каждое движение хозяина, когда он поставил перед гостем латунный поднос с двумя чашечками и шкатулку, в которой лежали черно-коричневые индийские сигары, крепкие черуты.

— С вашего разрешения, я предпочту свою трубку, — сказал Эрмин, — черутам я не доверяю.

Голландец усмехнулся:

— Они крепкие, но и весьма хорошие, ваши черуты. Город Иерусалим и без того весьма изнашивает сердце, так что чуть больше или чуть меньше уже не имеет значения; коронарные сосуды, говорит доктор Глускинос, и сами сердечные сосуды. Если выкуриваешь их до конца, в груди возникает легкое неприятное давление, но вечно жить незачем, верно?

Эрмин внимательно смотрел на мужчину с водянистыми глазами и слегка отвисшей нижней губой. Вот здесь и надо зацепиться: за город

* Цицит — традиционные кисточки-нити на одежде евреев как постоянное напоминание о верности Закону.

на недельку-другую... он даже знал куда. И причину называть незачем.

— Доктор Глускинос вами доволен, де Вриндт?

Голландский еврей, сидящий напротив, громко рассмеялся, оскалив желтые зубы, будто услышал отличный анекдот.

— А вами врачи хоть раз бывали довольны? — ответил он вопросом на вопрос. — Нет, дорогой мой, если верить доброму Глускиносу, я веду нездоровую жизнь; по его словам, я плохо сплю, во-первых, потому, что эта вот мыслительная машина, — он хлопнул себя по лбу, — попросту не желает делать перерывы в работе, и потому, что я действительно слишком много сижу, неправильно питаюсь, слишком много курю и вообще мало себя берегу. Мне, мол, надо избегать волнений, — он опять коротко и резко хохотнул, — в наше-то время, в нашей стране и в обстоятельствах, против которых мы не можем не бороться... мы, маленькая кучка людей, вынужденных защищать учение и заповеданный нам образ жизни от всего, что вообще существует в этом мире. С тем же успехом Глускинос мог бы запретить волноваться капитану Линдбергу*, когда тот на своем моторе, на своем хруп-

* Линдберг Чарльз (1902–1974) — американский летчик, совершивший в 1927 г. беспосадочный перелет через Атлантику (из США во Францию).

ком аэроплане летел над волнами Атлантики, на полпути меж Америкой и Европой, один-одинешенек. Что ж, и это пройдет. Прошу вас извинить меня на минутку, взгляните пока на монеты, которые мне предложил плут Шапира; настал час послеобеденной молитвы.

Он вышел в ту из двух других комнат, что смотрела окнами на юго-восток, где за Дамасскими воротами, за множеством башен и крыш, словно серые светила, виднелись в дымке круглый Купол Скалы и второй, поменьше, — Аль-Акса.

Л. Б. Эрмин знал обычаи ортодоксальных евреев, как знал и обычаи арабов или эфиопских христиан; для него это были правила великой игры, в которую народы и религии играли с Богом, и они правильно делали, не позволяя себе мешать, так как опасались гнева незримого партнера. Во всяком случае — он во весь рост вытянулся на диване, застланном бухарской тканью, черно-сине-белой, с красивым причудливым узором, — чертовски трудно говорить с человеком о его личных делах, так трудно, как он и предполагал с самого начала.

Наконец-то подул прохладный ветер; можно подняться на крышу и, пользуясь случаем, отправить друга из Иерусалима. Де Вриндт был и европеец, и человек Востока, человек смелой мысли и логичных действий, очень одинокий, без союзников, действующий согласно своим убеждени-

ям, не страшщийся вызвать ненависть. Во времена, когда популярность ценилась выше глотка воды или купания, это мужество инакомыслия было примечательно. Правда, тогда ни под каким видом нельзя обнаруживать слабости; противники, которых ты довел до белого каления тем, что не находил их достойными внимания, — такие противники неумолимо наносили удар. Ведь в нынешние времена всемирного оглушения люди вообще видели лишь партийные цвета и очень удивлялись, что под черной либо красной рубашкой или под полосатым бело-черным молитвенным покрывалом текла живая кровь, которая порой изливалась фонтаном. Де Вриндту только и недоставало навлечь на себя гордыню оскорбленной чести семьи!

Де Вриндт вернулся, потирая руки.

— Воздух пришел в движение, Эрмин, можно устроить сквозняк. Нет, на крышу мы пока не пойдем, солнце так палит, что мигом нас погубит. Я частенько спрашивал себя, не стоит ли нам по примеру бедуинов носить толстые черные шерстяные рубахи. По их словам, так тело сохраняет прохладу. Но я не могу себя заставить.

Эрмин встал и помог поставить кресла напротив распахнутых дверей и закрепить створки окон; теперь, когда они открыли и молитвенное окно, как Эрмин называл его про себя, ветерок продувал все три комнаты. Всякий раз англича-

нина завораживал вид из этого высокого, похожего на башню помещения: Дамасские ворота с их выступающими справа и слева укреплениями и красивыми зубцами, длинная высокая стена, опоясывающая Старый город и тянущаяся вправо и влево, как во времена тамплиеров и султана Салах-ад-Дина; расположившиеся в тени стен верблюды, мимо которых быстро и дерзко мчались автомобили, непрерывно гудя клаксонами. Дымка над огромным городом, множество четырехгранных башен, высокие церковные купола в этом углу, размытая красота Купола Скалы и Аль-Аксы — да, человека, однажды застрявшего в Иерусалиме, трудно отсюда вывести.

— Только посмотрите — какой чудесный вид! Разве он не восхищает вас каждый день по-новому?

Эрмин, осторожно подбирая слова, согласился с радостным возгласом писателя. Да, насколько он может судить, с этой панорамой Иерусалима мало что сравнится.

— В самом деле, — сказал де Вриндт, — в Иерусалиме много красот, много достойного почтения, даже величественного. Однако дом Аллаха на вершине горы Мориа — едва ли не самое величественное, разумеется за исключением трех вещей: для вас, христиан, это церковь Гроба Господня, для нас, евреев, — Западная стена, а для солдат — памятная плита Десятого легиона

под входными сводами одного из домов у Яффских ворот, установленная после резни семидесятого года.

Эрмин рассмеялся, потому что при этих словах де Вриндт слегка подтолкнул его локтем в бок.

— Гора Мориа, — задумчиво проговорил он, — она и вправду существует. Каждый день забываешь об этом и узнаешь вновь. Значит, там ваш отец, де Вриндт, едва не принес вас в жертву, прежде чем заколол вместо вас другого агнца?

— Он был суровым критиком, — серьезно возразил де Вриндт.

Подобные намеки свидетельствуют об уровне доверительности. Однажды поздним вечером, за бутылочкой крепкого ришонского вина, де Вриндт открыл ему толику своих фантазий: что нередко он чувствует себя так, будто ему несколько тысяч лет и что в начале своих воплощений он был Ицхаком (или Исааком), сыном патриарха Авраама, отмеченным страшной печатью судьбы и обреченным смерти от ножа. Иногда Эрмин намекал на это, сегодня — с умыслом.

— Люблю арабов... возможно, потому лишь, что они воздвигли над городом этот дом Божий. Хотя нет, — поправил он себя, — я люблю их как людей. Они такие простые — цельные в

симпатии, цельные в отвращении. Их смех прекрасен, и их однозвучные песни, и смиренность, и печаль, и безрассудство — всё. Помните, как погиб патер Франциск Шмид, великий археолог, раскопавший Кфар-Нахум, или Капернаум, как его называют христиане? Лунной ночью он ехал из своего монастыря у Генисаретского озера в Иерусалим. Араб-шофер пел от блаженства, хлопал в ладоши, выпуская из рук руль, а патер спал на заднем сиденье. И неподалеку от Иерусалима случилось неизбежное: машина не вписалась в поворот и угодила в канаву, врезалась в склон, перевернулась — двое погибших. Но Абдиль, или Мустафа, или как его там звали, — его песня еще смеялась в ушах Азраила, ангела смерти, который караулит у дорог и, точно смоквы, срывает созревших живых.

Ха, подумал Эрмин, подействовало!

— Разумеется, не стоит говорить человеку, что выглядит он не лучшим образом, — начал он, снова в гостиную, руки в карманы, усевшись верхом на спинку дивана, — но, между нами, взрослыми, говоря, по-моему, доктор Глускинос прав. Вам действительно не мешало бы провести ближайшие недели в горах. Где-нибудь подальше на севере, де Вриндт, в Сирии, или в окрестностях Бейрута, где возле гор Ливана одна деревня краше другой, или хотя бы в Цфате, который ваши люди намерены превратить в климатический

курорт. Здесь упомянутый Азраил может вскоре проверить степень вашей зрелости.

Де Вриндт с удивлением смотрел в открытое, загорелое лицо гостя.

— С каких пор вы вздумали убрать меня из Иерусалима? Возможно, отдых был бы приятным, хотя я лишен способности загорать так, как вы, у меня только прибавляется веснушек на лице и даже на руках. — Он с улыбкой взглянул на свои маленькие руки, испещренные желтыми пятнышками. — В горы? Недурно. Вероятно, я бы любовался водопадом, ходил на прогулки и понемножку работал. Стоило бы, пожалуй, наконец-то принять вызов и изложить по-голландски, что происходит здесь ныне или происходило в прошлом. Литература в Европе выглядит сейчас интереснее, чем перед войной, большие темы и менее дилетантские эксперименты над формой. Они там убирают развалины, под которыми похоронили войну, чтобы не вспоминать о ней все время. Неплохая затея — раскрыть все оставленные войной пробоины нашей цивилизации, борьбу меж желаемым и существующим, пропасть меж фасадом и реальностью, там, здесь, повсюду. Что вы скажете по поводу усиления юдофобства в Центральной Европе? Собственно говоря, лихая штука, верно? Потрясающий комплимент евреям. А Советская Россия? Их пятилетний план, большой, разумный и

такой же хрупкий, как все, что не учитывает неожиданных поворотов жизни?

— Так я и знал, что тамошнее юдофобство однажды бросится вам в голову. В Европе вправду оказывают вам слишком много чести, демонизируют вас, выставляют этаким драконом, болотным Гренделем, о котором повествует «Песнь о Беовульфе».

Де Вриндт довольно покачал головой:

— Не так уж плохо, мистер Т. П. Вы не смее-те признаться себе, что с четырнадцатого года ваша каста господ шаг за шагом вела вас не туда, и быстро попадаетесь на уловку, которая вместо ваших принцев, фабрикантов и банкиров подсовывает евреев, не говоря уж о политиках. Этот прием опробовали еще в девятьсот шестом, после Русско-японской войны. Ничего не изменилось.

— А как вы объясните, что на эту удочку попадают такие просвещенные народы, как немцы? И почему означенные хитрецы используют для отвлечения именно вас? И почему эта игра действует и добралась даже сюда? Ведь у нас на руках доказательства, что арабские националисты работают с переводом нелепых «Протоколов сионских мудрецов»* так, будто они берут нача-

* «Протоколы сионских мудрецов» — сфальсифицированный сборник текстов о вымышленном всемирном заговоре евреев (на русском языке впервые опубликован в 1903 г.).

ло не в восьмидесятых годах. Семитский антисемитизм, как вы его объясните?

— Сударь мой, — ответил де Вриндт, — с тех пор как я вник в существо вопроса, сей парадокс мне безразличнее отцветшего мака. С чем бы эти люди ни работали — они всего лишь маленькая группировка и когда-нибудь получат свой урок. При всей ее ловкости она не смогла бы затеять вообще ничего такого, если бы в каждом носителе мундира не дремала глубинная ненависть к нам — почему? Потому что со времен Бар-Кохбы мы защищаемся лишь призывом к Господу и правам человека. А это попросту упраздняет всю сферу носителей мундиров, так? Нет их, нет, и все. Помните двадцать четвертое сентября минувшего года?

Эрмин болезненно скривился:

— Вы же знаете, я вернулся из отпуска только в октябре; иначе этого бы не произошло или, по крайней мере, произошло, но не так.

Для верующих евреев День Искупления — вершина года, мгновение, когда земля и человек ближе всего к престолу Господню. И День Искупления у Западной стены давнего Храма, у так называемой Стены Плача, как никогда возвышает молящихся к милости Предвечного.

В День Искупления минувшего года, в разгар торжественной службы утренней молитвы, у Стены Плача появился офицер британской по-

лиции с арабскими полицейскими. На основании распоряжения, опубликованного накануне и основанного на законных жалобах мусульманского духовенства, он нарушил экстатический и безутешный молитвенный настрой и приказал убрать стол и бумажную ширму, отделявшую женские места от мужских, то есть конструктивные изменения, не дозволенные евреям на собственности арабского духовенства, а именно Храмовой площади и Стене. Это был самый испорченный День Искупления в Иерусалиме за много веков, возмущение никак не унималось, исправить ошибку уже невозможно.

Хотя де Вриндт и Эрмин неоднократно говорили об этом, англичанин каждый раз краснел от злости и стыда.

— Я задал этим идиотам серьезную головомойку, — сказал он. — Робинсон — бюрократ, а Машрум — простофиля.

— Да нет, хуже: он боец. И понимает, что на удар отвечают контрударом. Вот почему он уважает того, кто дает сдачи. А того, кто не дает, презирает. С презируемыми можно спокойно обходиться как с бескастовыми париями.

— Ему... то есть нам... неловко не защищаться.

— Но тот, кто защищается, а раньше этого не делал, опускается вниз и наносит вред человечеству. Развитие человечества совершен-

но определенно идет прочь от насилия, в сторону права. Приятно, конечно, крепко подраться, но авангард человеческого развития — благочестивые люди всех религиозных течений и вероисповеданий, белые, смуглые или желтые — должен отказаться от этого удовольствия, понимаете?

Ицхак-Йосеф де Вриндт снова раскурил черноватую сигару и прошелся по комнате, объясняя другу, что еще думает по этому поводу. Цицит развевались, время от времени он крепче прижимал к рыжеватому темени желто-черную кипу; за гранью смутной печали глаз он все больше превращался в исследователя, который анализирует духовные факты, взвешивает, дает им названия. В конечном счете весь мировой антисемитизм проистекал из одного-единственного маленького книжного свитка, составленного лет через шестьдесят после событий, о которых лишь он один и сообщал, — из священного текста, что именовался «Прото-Марк» и представлял собой один из источников Евангелий христианского вероучения. Речь там шла о позоре казни назареянина — позоре, который, по мере того как новая вера все больше завоевывала правящие слои империи, ни в коем случае не мог оставаться на греках и римлянах; необходимо было свалить его на евреев. Чем шире распространялось христианство, тем острее ста-

новились антитеза меж евреями и этой новой религией, хотя поначалу она ощущала себя дочерью иудаизма, и такой процесс повторился позднее минимум дважды, а именно когда Мухаммед и Лютер отпочковали свои новые верования. Пока надеялись перетянуть евреев на свою сторону, а вместе с ними весомость всех их пророчеств и упований на будущее, восторженную силу мессианства, — они ссылались на иудейскую картину мира и слова Божии... хвала Ему. Когда же им пришлось в конце концов похоронить эту надежду, они сложили на ее могиле костер для правоверного еврея.

— Я полагаю, так происходило часто, не только эти три раза; наверняка так же было и в Испании, когда создавалась инквизиция; в общем, этот исторический процесс прекрасно подкреплен доказательствами и неудивителен.

— Вы ведь знаете, что Торквемада*, как ранее Павел, был выкрестом, одним из ваших собственных рядов?

— Будь проклято его имя, — отвечал де Вриндт, — будь его прах развеян по ветру, а семья его искоренена. Он вынудил моих предков покинуть страну, где они сослужили добрую службу, хорошо жили, сочиняли прекрасные стихи. Да,

* Торквемада Томас де (1420–1498) — испанский инквизитор; инициатор преследований мусульман и евреев (в 1492 г. евреи были изгнаны из Испании).

без наших отступников еретики сделали бы против нас еще меньше. Достаточно посмотреть на новых русских и на крещеного сына богобоязненных раввинов, что родился в Трире, где чтут Святой Хитон, и зовется Карл Маркс.

— Вы — жирный кус, любезные друзья, — рассмеялся Эрмин, — но мы вас переварим. Мои предки, одетые в железо, с Библией в седельной сумке, с вашей Библией, воевали против тирана Карла Стюарта* и пели ваши псалмы, а в результате все-таки получилось нечто совершенно британское, верно?

Де Вриндт кивнул. Народы усваивали все, что придавало им сил; но неблагодарные не считали это причиной, чтобы отказаться от позорного образа еврея. Как передавалось в веках, вернее, как вдалбливали им авторы Евангелий, они видели образ убийц и предателей своего Бога, и так он переходил от отца к сыну или, лучше сказать, от матери к детям, мрачный, обреченный злу и неодолимый. Поскольку же в каждом взрослом сохранялся маленький верующий ребенок, в чей неокрепший разум на школьных уроках сразу впечатывали такой вот образ злого еврея, из поколения в поколение, было возможно снова и снова подсовывать евреев вечно не-

* Карл I Стюарт (1600–1649) — английский король; во время Английской революции XVII в. низложен и казнен.

совершеннолетним как причину всех бед, даже и в трезвом мире просвещеннейших столетий. Именно в этом отыскивался корень зла, враг Христов; все прочее — экономические вопросы, вопросы духа и даже расы — служило лишь фоном и фасадом. А евреи знали, единственная защита от этого — терпеть и держаться, жить, ни на йоту не поступаться своим достоинством и при необходимости освящать имя Господне отважной смертью. И разве не нужно было, — он резко повернулся к городу, ослепительно сияющему за окном своими крышами и желтым предвечерним камнем, — разве не нужно было остерегаться и бороться здесь лишь против одного: против секуляризаторов иудаизма, разрушителей вероучения здесь, в самой стране, против осквернителей шабата и нарушителей закона, которые полагали, что смогут заменить модным национальным фразерством живую броню учения, слишком тяжелую для их мягких коленей и слишком многомудрую для их запутавшихся умов?

— Стало быть, — воскликнул Эрмин, замороженный страстью, которая внезапно напрягла эту полноватую фигуру, стиснула ее маленькие руки, — стало быть, чтобы сохранить себя для такой борьбы, вы обязаны кое-что сделать для своего здоровья, де Вриндт. Вам знаком Кубебе? За тридцать лет трудов немецкий патер-фран-

цисканец создал на голой вершине среди Иудейских холмов парк, сделавшийся тамошней достопримечательностью, — лес, кустарники, цветы, прекрасные виды и покой, де Вриндт, чудесно. Кстати, поучительное свидетельство, во что человеческий труд способен превратить эту измученную землю. Поезжайте в Кубебе, слывающий у францисканцев библейским Эммаусом. По правде, увы, должен сказать, что есть еще два Эммауса, а именно Эммаус итальянских траппистов и Эммаус французских доминиканцев, которые, пожалуй, весьма преуспели в археологии. Но вы можете спокойно насладиться нашим христианским раздором, соберите чемоданчик и позвольте мне сегодня же вечером вас туда отвезти. Мой автомобиль доберется туда за полтора часа.

Де Вриндт с благодарностью почувствовал за этим предложением симпатию, в городе раскола особенно приятную. Но покачал головой. Как раз сейчас ему нельзя отлучиться. Время тревожное; Эрмин меньше всех нуждается в подробных объяснениях; ведь как раз сейчас сионисты оформили союз с другими группировками неортодоксальных евреев, чтобы те использовали свое влияние и деньги ради Палестины — учредили «Jewish Agency»*, чем, разумеется, ослабили по-

* Еврейское агентство (англ.) — международная организация содействия переезду евреев в Палестину (1929–1951).

зицию всех ортодоксальных евреев. У его партии в Иерусалиме только двое активистов, и он никак не может оставить второго в одиночестве. В любую минуту от них могут потребоваться судьбоносные решения, быть может, даже обращение к арабской знати. Сейчас они, правда, в состоянии войны, так как арабы вздорно утверждают, будто евреи стремятся завладеть мечетью Аль-Акса, превратить ее в синагогу. Понятно, ни один верующий еврей не помышлял претендовать на Храмовой площади на дом Божий уже потому, что по резонным причинам не вправе ступить на эту освященную землю, пока не придет мессия. Сам Господь оставил сей миг за Собой; когда же Он придет и вновь соберет народ Свой со всех концов света, трубным гласом и силою Своей, все будет выглядеть иначе, нежели нынешнее мелкое, по капельке, переселение, которое сионисты именуют репатриацией еврейского народа.

— Среди них тоже есть набожные, верующие мужи, они называют себя «мизрахи»; но поймите, Эрмин, если уступить духу времени хотя бы в одном-единственном пункте, путая богоизбранность народа Израиля с современным национализмом, это обернется, по сути, параличом и бессилием. Вот почему они никак не справятся со своими еретическими сторонниками, не могут ни отделаться от них, ни внутренне их изменить. И поэтому мы, маленькая горстка, долж-

ны быть здесь, бдительные и подвижные, чтобы свидетельствовать в случае необходимости. Как говорит Гамлет? «Готовность — это все»*.

За годы, прожитые на Востоке, Ленард Брюс Эрмин полюбил добрый обычай, который не позволяет сразу же говорить о сути дела, предписывая долгие введения, множество отклонений от темы, притворный интерес к совершенно второстепенному. Но, увы, больше тянуть нельзя. Этого упрямца де Вриндта надо сбить с ног, иначе разговора вообще не получится. Эрмин с большой симпатией относился к друзьям и к некоторому количеству дорогих ему идей и занятий, однако помимо этого обладал неподкупным взглядом на реальность любого развития, чутьем к его возможным последствиям и здоровым отвращением к неприятному промедлению. Этот де Вриндт, со всеми его талантами и слабостями, должен жить, его необходимо спасти, он желал ему благоденствия и верил в его интеллект. Но, даже не говоря об этом, он ни под каким видом не должен быть убит, ведь в результате поднимется адская шумиха и вспыхнет скандал, последствия которого невозможно предвидеть. Обычно Иерусалим никого не интересовал. Кантон, Сайгон, Бомбей, Дамаск, Каир и даже марокканский Танжер занимали на стра-

* У. Шекспир. Гамлет. V, 2. Перевод М. Лозинского.

ницах газет куда больше места; этим городам, как и крупным городам Запада, прощали длинные хроники смертоубийств, более того, любители романтики прямо-таки ждали их. То, что в Иерусалиме совершенно никудышный водопровод, никого на свете не заботило, и менее всего на лондонской Даунинг-стрит. Но если здесь пропадет или, хуже того, будет убит человек, вокруг которого хоть чуточку вибрирует политическая атмосфера, — иерихонские трубы! Яростное негодование по всему миру, громовые телеграммы из колониального ведомства, запросы в палате общин, осторожный выговор господ из Женевы и три передовицы в итальянских газетах о перераспределении мандатов Лиги Наций. Нет, дорогой мой, придется вам взяться за ум и поступить так, как предлагает некто Л. Б. Эрмин.

— Боже милостивый, — сказал он, глянув на часы на левом запястье, — засиделся я у вас! Пора, надо заехать в контору, просмотреть донесения и подписать кое-какие бумаги. Что ж, подумайте пока. Я собираюсь поужинать в клубе, а вечером еще искупаюсь в Мертвом море или Средиземном, в Тель-Авиве. — С этими словами он встал, встряхнул руками, будто они слегка затекли. И, уже направляясь с де Вриндтом к двери, спросил: — Вы еще видаетесь с вашим юным другом, с вашим учеником Саудом?

Де Вриндт бросил на англичанина косой взгляд, но не остановился.

— Способный мальчик, — сказал он, — на удивление быстро осваивает голландский. Арабы очень понятливы. Только им нужны школы получше.

— Да, — отозвался Эрмин, — но его семья, кажется, проведала о ваших встречах. Например, его брат Мансур, учитель, если не ошибаюсь; отъявленные националисты эти молодые арабские учителя. Рады бы отправить в ад и вас, и нас всех. Ну а расправиться с человеком одиноким, особенно если он неосмотрителен на улицах, вообще не составит труда. Меткий удар кинжалом в темном углу уже разрывал иные нежелательные связи. Впрочем, — он положил руку на плечо де Вриндта, — мое предложение остается в силе, и, если вы сегодня и завтра будете соблюдать осторожность, я и послезавтра смогу отвезти вас в Кубебе. До свидания, старина! Упрямец Господь бьет особенно охотно.

Он пристально и дружелюбно посмотрел в глаза де Вриндту, который, как он решил, держался великолепно. Цвет лица, бледный, посеревший, вполне мог происходить и от сумеречного освещения в передней.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СКВОЗНАЯ ТРЕЩИНА

Де Вриндт закрыл дверь, но так и стоял, уткнувшись в нее лбом, без сил. Что же это? Англичанин знает. Знает о его отношении к мальчику Сауду. Пусть он трижды джентльмен и девятижды друг — это конец. Страшная кара, какой его подверг Бог, — теперь она получила огласку. Он, Ицхак-Йосеф де Вриндт, борец и ревнитель духа Торы, будет разоблачен как любитель мальчиков, как мужчина, который чурается женщины, как тот, кто слабеет под чудными взглядами умного мальчика, сажает его на колени, ждет его объятий и поцелуев, — это конец.

Он прошаркал обратно в комнату, к своим монетам, на ватных ногах, сгорбившись, как старик, и ничком бросился на диван. Ни секунды он не думал об угрозе, о которой Эрмин высказался достаточно ясно. Она его не трогала. Эти грубые идиоты со своими кинжалами и пистолетами не стоят ни единого помысла. Лежа здесь и стеная, он единоборствовал с куда более могучим вра-

гом своих сокровеннейших часов и стихов, который поставил его здесь и порази́л этим чувством, — с Богом. С тех пор как он познакомился с мальчиком Саудом, всякий раз, когда наступала темнота, его покидали надежная сила и гармония жизни, смелость аргументации, горячий боевой энтузиазм. Оставался только человек, одержимый страстью, проклятой страстью, которую он сам не выбирал, некогда ее внушил ему глумливый Бог, и он с нечеловеческой, неиссякаемой яростью старался ее побороть, а она, казалось, лишь черпала в этом единоборстве новые силы. В психологии есть школы, утверждающие в человеке встречную силу, которая парализует все напряжения воли, но он, де Вриндт, знает лучше. Ужасный произвол Бога, избравшего его Своей игрушкой. Из него, не из кого-то другого, а именно из него Он сделал игрушку и радовался черно-белому цвету двух его совершенно разных миров. Днем и внешне он всеми силами своего духа и воли был адептом Торы, причем без тени лицемерия, его пронизывало пылкое стремление внимать слову Единого Бога, который избрал народ Израиля и этот город Иерусалим. И точно так же Он создал его и использовал лишь затем, чтобы здесь, в Иерусалиме, кто-то проклинал Бога и грозил Ему кулаками, едва наступала ночь. Но так повелось с незапамятных времен. Он с незапамятных времен выбирал тех,

кто желал служить Ему наиболее ревностно, и заключал их в тиски Своих запретов, а одновременно вонзал в них раскаленный меч необузданных инстинктов. Он, лежащий здесь мужчина по имени Ицхак, достойный преемник тому отроку Ицхаку, который вон там, не более чем в тысяче метров отсюда, на вершине горы Мориа, лежал на жертвеннике, чтобы родной отец, Авраам, сын Фарры, своею рукой принес его в жертву, — на той скале Мориа, вокруг которой мусульмане воздвигли нечестивый и чудесный восьмигранный, выложенный снаружи цветными изразцами, внутри расписанный, как хвост павлина, и под дивным сводом купола поклонялись голый, серой скале, — единственное место на свете, где воздавали божественные почести самой тверди земной, самой земле. Так что же делать? Пока что об этой беде знали только Эрмин да мальчик Сауд, который приходил сюда, причем приходил охотно, впитывал знания и платил за них блеском своих глаз, прелестью своего тела. Лишь немногие из сокровеннейших его стихов знали больше; лишь о противоборстве с Богом он осмеливался писать в стихах, но почти не касался его причин. Кошмарная энергия жизни непрестанно катилась вперед, перехлестывая через край, наперекор всем обетам, наперекор всем препятствиям! Да, и это тоже Бог. Почему Он не ограничился простыми серьезными обы-

чаями древности, когда патриархи, как нынче бедуины, бродили со своими овцами у заснеженных кряжей Хермона, поили верблюдов из колодцев Хеврона и Беэр-Шевы, людей было мало, нравы отличались простотой, а синайские заповеди могли соблюдаться? Почему Он выплеснул на землю миллионы и миллиарды, допустил их тесное расселение, терпел адское скопление городов, малых и огромных, и позволил людям демоническими машинами утысячить труд, запечатлеть в камне уродство их жизни и отравить невинную земную кору, возвышенно простодушное море и даже живой воздух страстями, суетой, муравьиной хлопотливостью? Если он, де Вриндт, сбежит сегодня в пустыню, то завтра мимо него наверняка проедет автобус с туристами; если спрячется на берегах Мертвого моря, то вскоре угодит в толпу землемеров, и вскоре же будет проложен железнодорожный путь, потому что там строят фабрику. И если он, жажда чистоты и подлинно человеческой жизни, стремится установить здесь, на этой земле, почитание шабата и признание Закона, то из него самого, из собственной его мятежной души вырывается страсть к мальчику, которая вызывала дрожь отвращения у великих талмудистов и у всех раввинов после них и которую они называли содомитским пороком и бесстыдным грехом проклятого императора Адриана. Да, так оно и

есть, он мог выдержать обе эти страсти, он один, неистовое напряжение благодати и проклятия, Эйвал и Гризим* в собственной груди, но лишь до той поры, пока никто об этом не знал. Теперь знал еще один, благорасположенный, Эрмин, только вот — он застонал, и этот звук так странно прокатился в безмолвной комнате, где по стенам стояли на полках черные фолианты, — только вот Эрмин: от кого-то он об этом проведал, явно от одного из своих агентов, и молодой Мансур тоже о чем-то догадался, а то и знал. Нет, здешней его жизни пришел конец, как шатру, сорванному ветром; он должен бежать не просто из города, но и из страны, и не просто, как думал Эрмин, на неделю-другую в отпуск, а навсегда. Ведь борьба, какую он вел, куда важнее личного счастья, задача сопротивляться секуляризации иудейства куда нужнее, чем его страсть к святому и склочному городу, и она не привязана к этой стране. Он, Ицхак-Йосеф де Вриндт, мог продолжить свою борьбу всюду, где блюстителей Торы притесняли дерзость еретиков-евреев и безразличие либералов, которые сделали мировоззрением расплывчатость протестантизма, усматривая в нем самый удобный способ отделаться от Бога. Всяду — в Англии, Америке, Восточной Ев-

* Эйвал и Гризим — горы-близнецы у въезда в Наблус; о них Моисей говорил, когда заповедовал, откуда благословлять народ, а откуда произносить проклятия.

ропе — он мог служить своей миссии, и там не было их, чудесных мальчиков, подлинных сынов Измаила*, с изяществом тел и ума. Там он мог заковать себя в аскезу польских раввинов, там легко отречься от счастья, ведь эти люди знать не знали, сколько на земле счастья; там он мог и эту часть своего существа претворить в усердие и неистовым барабаном греметь против разрушителей святыни. Разумеется, для его неистового сердца это беспросветно, уныло и бессмысленно, однако ж он, стиснув зубы, вырвет сердце из груди и швырнет в лицо Творцу: вот, возьми, я больше не могу, даже ненавидеть Тебя больше не желаю, хочу быть не более чем полым бараньим рогом**, который ревет Твоим рыком, о безумный Творец совершенно безумного мира и чудесного духовного сада, именуемого Торой, каковой, увы, никак не ширится на этой земле. Он несколько раз глубоко вздохнул и признался себе, что приступ панического ужаса буквально парализовал его, от груди до колен. Теперь нужно предпринять три вещи. Во-первых, выходить из дома только днем; во-вторых, больше не видаться с мальчиком Саудом; в-третьих, объяснить другу и соратнику рабби Цадоку Зелигману, что следующим пароходом он уедет в Три-

* Сыны Измаила — арабы.

** Имеется в виду шофар, в который трубят, возвещая, например, о наступлении шабата.

ест. Необходимо совершить агитационный вояж по большим еврейским общинам Востока, который должен завершиться конгрессом в Вене, синадрионом всех верных Закону раввинов от Гельсингфорса* до Рима. Там надлежит по всей форме оспорить у сионистов право выступать в качестве заступников еврейского народа, а Лиге Наций, правительствам и прежде всего властям здешнего мандатария краткими и четкими формулировками вдолбить подлинные претензии подлинного еврейства и его подлинных заступников. В крайнем случае ради краха сионистов придется пойти на союз с либералами, да, надо обдумать, не стоит ли призвать мировой антисионистский штаб, еврейскую секцию Коммунистической партии России, к походу против империалистического сионизма и его ложных антимессиянских доктрин. Мысль ужасная, ведь это союз с самим дьяволом.

Со стороны моря солнце широким потоком изливало косые, но еще жгучие лучи на Иерусалим и в окно одинокого мужчины, который неуклюже выпрямился. Все-таки хорошо покинуть эту страну, хотя бы затем, чтобы снова ощутить дождь, божественность, струящуюся с небес. Сейчас он оденется, пойдет к рабби Цадоку Зелигману, обсудит с ним, кто здесь, в

* Старое шведское название Хельсинки.

стране, сможет заменить писателя де Вриндта, которому необходимо по срочным делам уехать в Европу. Неожиданно в дверь опять позвонили.

Люди часто пугаются трезвона дверных звонков. Это не имеет никакого отношения к их способности общаться с другими. На улице, в кофейне с ними можно заговорить в любую минуту, они сразу готовы ответить и отвечают, порой даже весьма словоохотливо. Но у себя в квартире они прячутся в коконе собственных испарений, в молчаливой атмосфере своего сокровенного существа, и всякое вторжение снаружи действует почти как физический удар.

Де Вриндт тихонько выбрался в переднюю, но, прежде чем наклонился к глазку, его вдруг пронзил испуг, счастливый испуг, он хлопнул себя ладонью по лбу и распахнул дверь.

За дверью стояла детская фигура в красном тарбуше на голове, в белой рубаше с красным поясом, в белых брюках, из которых высывались голые, дочерна загорелые ноги. Под левой мышкой зажата книга. В знак приветствия мальчик торжественно коснулся ладонью середины лба, поклонился и сказал по-арабски:

— Мир тебе, Отец Книг. — Темные глаза лукаво блеснули в сумраке лестничной площадки. Он вошел, дверь за ним закрылась.

Де Вриндт наблюдал, как мальчик тотчас скинул туфли на плоской подошве. Потом обнял узкие плечи и, стараясь скрыть волнение, ласково провел его в западную комнату. Разумеется, он умолчал о том, что назначенная на этот час встреча впервые оказалась забыта, или, может статься, Сауд понял, какая грозная тень внезапно нависла над ними как третий в их союзе? С каждым ударом пульса он чувствовал, как трудно будет исполнить решение о бегстве. От счастья сжалось сердце и перехватило горло, пока он смотрел, как мальчик, подобрав под себя ноги, уселся на диван, открыл книгу, положил смуглые руки на стол и преданно, с ожиданием устремил взгляд на учителя и друга. Чтобы заговорить, де Вриндту пришлось промочить горло. Из красно-коричневого глиняного кувшина он налил себе воды, а пока пил, осознал, что не сможет утаить от мальчика случившееся. Ведь оно угрожало мальчику не меньше, чем ему самому, но, возможно, тот справится с ним куда лучше, чем «Отец Книг».

— Ты очень пунктуален, о Сауд, — начал он, — не могу не похвалить тебя.

— Похвала учителя подобна вечерней росе, — отвечал мальчик изречением. — А теперь я тоже хвалю себя, потому что нашел дорогу к тебе, и вымыл руки, и нос у меня не грязный.

Де Вриндт невольно рассмеялся, вновь признавшись себе, что в этом мальчике его привле-

кает многое, и не в последнюю очередь его веселость.

— Причем на сей раз улизнуть было совсем нелегко, — сказал Сауд. — Мой брат Мансур, видно, наябедничал на меня солнцу, луне и звездам, а мать придумала для меня тысячу дел.

Де Вриндт словно невзначай спросил:

— Как ты думаешь, твой брат Мансур знает, куда ты ходишь?

Сауд пренебрежительно сравнил старшего брата с клопом, который весной снова оживает и твердит, что он-то и принес весну.

— Ты же знаешь, клопы в темноте кусают, — серьезно ответил де Вриндт, — даже Отцов Книг, европейцев.

— Иногда, — тоже серьезно сказал мальчик, — а потом им приходится плохо, они знакомятся со злым керосином.

— А если укусит не клоп, а скорпион? Послушай, что произошло: ко мне заходил Эрмин-эфенди; он сказал, что моя жизнь в опасности, и спросил о твоей родне, о мужчинах твоей семьи.

Мальчик откинулся назад, вскинул кулаки и воскликнул:

— Они хотят отнять тебя у меня, Эрмин-эфенди и твои друзья. Но я тебя не отдам.

Де Вриндт покачал головой. Дело обстоит не так. Мужчины, говорившие друг с другом по-арабски, причем один явно из хорошей семьи,

обсуждали ночью то-то и то-то. Может быть, он, Сауд, был неосторожен?

Мальчик соскользнул с дивана, сел к нему на колени, обнял за плечи. Заплакал. Поклялся Аллахом и Пророком, что всегда был осторожен. Разве только, пожалуй, мог оставить где-нибудь эту книгу с именем владельца, написанным еврейскими буквами. Вот в чем его оплошность, он готов биться головой об стену.

Де Вриндт обнимал хрупкое тело, поцелуями осушал слезы, успокаивал; то, что живое существо так страдает из-за него, наполнило его смутным блаженством; бесформенное, неуклюжее, оно прихлынуло словно из самых затерянных глубин минувшего.

— Поверь, опасности нет, совершенно никакой, — лепетал мальчик. — Нас много, целая орда мальчишек, одни последуют за мной добровольно, а для других дай мне несколько пиастров. Мы разведем про моего брата Мансура. Выйдя из дома, он ни на минуту не скроется от наших глаз, мы всегда будем знать, где он и почему. Он трус, говорю тебе, он не посмеет ничего сделать, если мы раз-другой его напугаем. Но и ты должен быть мудрым, господин, с наступлением ночи тебе нельзя в одиночку ходить по Старому городу, да и здесь тоже. Я придумаю какую-нибудь хитрость, направлю его по ложному следу. Через две-три недели он обо всем забудет.

Взволнованно и проникновенно он широко открытыми детскими глазами смотрел на друга, положив ему на плечи кулачки, откинувшись далеко назад. Он пытался обмануть себя и сам это понимал. Не так-то просто избежать опасности, если мужчины его семьи, гордые мужчины Джеллаби, решили встать между ним и этим человеком.

Ах, думал де Вриндт, разве не стоит рискнуть жизнью, если живая душа так тебя любит? Хорошо живется в краях, где часто идет дождь; но еще лучше, без сомнения, в жарких странах, где чувства людей устремляются прямо к цели, точно стервятники, которые падают с небес на околевшего верблюда возле дороги. На миг он притянул к себе голову мальчика, с которой свалился тарбуш, снова надел ему красную шапочку и сказал:

— Нам надо думать об уроке. Послушаем, что ты помнишь и что нового выучил о тех временах, когда твои отцы и мои в согласии жили за морем и вершили великие дела, в Гранаде, в Кордове, в Севилье.

Мальчик Сауд опять сидел на диване, подбрав ноги, положив ладони на стол.

— При калифе Абдаррахмане... — начал он и опять осекся. — Что посоветовал тебе Эрминэфенди, о Отец Книг?

Де Вриндт на миг задумался — рассказать мальчику только о маленькой поездке или о пла-

нах уехать в Европу, о многомесячной отлучке? И решился, рассказал о втором плане. И не скрыл, что, дабы подготовиться, должен сегодня вечером еще раз выйти из дома и посоветоваться с рабби Цадоком.

Мальчик Сауд кивнул:

— Только будь очень осторожен и не вступай на улице в споры, ведь наши мужчины именно таким способом приводят себя в ярость. Остальное — хорошее решение. Мудрее уйти от опасности, пусть даже она исходит всего-навсего от моего брата. — Понизив голос и глядя прямо перед собой, он добавил: — Я буду ждать тебя. Что такое три месяца для настоящих друзей? Когда начнутся дожди, ты вернешься. И в Яффу, чтобы подняться на борт «Вены» или «Карнаро», отправишься не сегодня и не завтра. Я ничего не забуду к твоему возвращению; поверь, в темноте я сумею нарисовать твой облик на моих опущенных веках.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ратники Божии

Иерусалим блаженствовал, наслаждаясь облегчением раннего вечера. Солнце, все еще на половине высоты над дугою моря, ослепило де Вриндта, когда он вышел из дома и быстрыми, короткими шагами направился через оживленный Новый город к Русскому подворью, меж тем как автомобили, непрерывно гудя клаксонами, мчались вдоль тротуаров или возвращались на стоянку возле угла — шоферы-евреи в плоских кепках, остальные в тарбушах, которые европейцы называют фесками. Казалось, весь Иерусалим высыпал на улицу, всеми фибрами вбирая в себя кислород после зноя летнего дня. Продавцы лимонада и арабских напитков, перекинув шланг через плечо, лавировали среди продавцов мороженого в маленьких киосках и грациозных женщин в черных накидках, с кувшинами на голове, с детьми, которых вели за руку. Армянские духовные лица в высоких шапках, длинноволосые русские попы, чернобородые эфиопские свя-

щенники с гордо-неприступными темнокожими лицами, в широких черных развевающихся рясах. Напротив Главного почтамта, стоя на возвышении, регулировщик в черной форме и белых перчатках управлял движением автомобилей, ослов и верблюдов, объясняясь с шоферами и погонщиками взглядами и легкими кивками. В витринах, в дверях лавок на Яффской дороге манили подлинные и поддельные восточные товары, но де Вриндта они на сей раз не радовали; он сосредоточенно высматривал в зеркальных стеклах возможных преследователей, высокого молодого араба в тарбуше или бедуина в белом платке-куфие, перехваченном черным шнуром из конского волоса. Группу бедуинов, замершую возле кинотеатра «Сион» перед пестрыми афишами какого-то военного фильма, он обошел стороной. Еще вчера он заговорил бы с ними по-арабски, дружелюбно разъяснил незнакомые мундиры. Но куда подевалось это вчера?

Иерусалим, расположенный на возвышенности, изначально занимал только ее самый крутой юго-восточный угол, затем медленно захватил всю прочую площадь, а теперь растекся и по окрестным холмам. Поэтому меж его частями еще хватало просторных незастроенных участков, каменистых склонов, ведущих то вверх, то вниз. Дальше, в Рехавии, росли новые кварталы вилл и большой комплекс зданий, где размес-

тится еврейское самоуправление, сионистские народные фонды. Пока что они сидели здесь, в деловом квартале, поблизости от Главного почтамта, тогда как арабские исполнительные власти обосновались в районе Дамасских ворот.

Навстречу де Вриндту попадались евреи всех мастей. Немногие здоровались с ним, некоторых бородатых стариков приветствовал он сам; порой случалось, что кто-нибудь при виде его демонстративно отворачивался. Эти еврейские улицы внешнего Иерусалима походили на современные кварталы Варшавы или Берлина, по крайней мере что касается одежды обитателей. Только вот автомобили карабкались по узким, крутым переулкам, сворачивая за углы так, будто у них в шасси суставы.

Неохотно и с сомнением де Вриндт свернул на запад, в узкую улочку, она вела к школе Раши, а во время войны там располагались бордели, которых в городе Иерусалиме ни до, ни после не существовало. В зарешеченных подворотнях снова и снова позади белых домов неожиданно открывались сады со старыми оливами, светло-серыми, почти белыми от пыли. Белая и пыльная простиралась и незастроенная местность за невысокой стенкой из дикого камня, белые и пыльные улицы, почти такие же крыши. Весь город казался белой, пористой известняковой скалой, изрытой ходами темных и

пятнистых насекомых, представителей крупного вида, научившегося прямохождению. Аэроплан, летевший курсом из Бриндизи в Багдад, металлически жужжал в желтом, как металл, вечернем небе. Порой де Вриндт с подозрением оглядывался, смотрел из-под черной широкополой шляпы, не идет ли кто следом. Но так и не заметил мужчину, который еще у Дамасских ворот отделился от кучки бедуинов и погонщиков ослов, чтобы то посреди улицы, то поотстав, из-за угла или из переулка, наблюдать за ним на всем его пути, человек в сапогах с отворотами и черной каракулевой шапке, с седоватой бородой клинышком и голубыми глазами. Когда он, де Вриндт, исчез в здании школы Раши, черкес зашел в мелочную лавку напротив, за сигаретами.

Иванов был большой мастер вырастить из зернышка крошечного вопроса целое дерево разговора, которое могло укрыть в своей тени не один час; а разве еврей, много лет назад приехавший сюда из Мариамполя, не радовался разговору по-русски и не угощал посетителя стаканом чая, коли тому было у него хорошо?

В маленькой келье рабби Цадока Зелигмана собрались двенадцать-четырнадцать евреев, молодых и пожилых, с которыми он «изучал страничку Гемары», то бишь в течение часа толковал Талмуд, и которые сейчас ожидали общей вечер-

ней молитвы. Доктора де Вриндта встретили радостно. Здесь его любили и уважали, каждый стремился пожать его веснушчатую руку. Рабби Цадок Зелигман предоставил ему честь прочитывать вечернюю молитву, и после недолгих протестов он согласился.

К юго-востоку отсюда высилась святыня, Западная стена Храма, известная миру как Стена Плача. К ней и оборотился сейчас де Вриндт и, возвысив голос, начал торжественно, нараспев произносить вступительные фразы вечерней молитвы, как принято в синагогах правоверного европейского еврейства. Здесь говорили не на иврите, чье восточное, старинное и одновременно совершенно новое произношение преобладало в нынешнем Иерусалиме; здесь вновь звучал цветистый молитвенный язык, напевный и изобилующий гласными, который жил и преображался вместе с живым народом, не оскверненный мирским употреблением, какому его подвергали сионисты и молодежь. Вскоре в этих беленых стенах, под низким потолком, меж маленьких зарешеченных окошек всколыхнулась тоска тех, что призывают Бога, низводят Его с небес, дабы дух Его находился с ними.

Мужчины стояли позади де Вриндта, в будничной одежде, но воздух меж ними словно бы сгустился от экстаза. Их плечи вздрагивали, голова склонялась набок или откидывалась на-

зад, голоса беспорядочно смешивались с его собственным, а сами они творили поклоны вместе с де Вриндтом. Он же, противник Бога, стоял к ним спиной и отчаянно сотрясал сокровенные тайны Творца, который на все происходящее молчал, не делал ничего, чтобы восстановить Свой Храм, этот единственный Храм, Бейт га-Микдаш, или Дом Святыни, терпел как деяния мусульман на священной территории Соломона, так и мирскую суету евреев-еретиков, которым хотелось всего-навсего стать одним из многих народов, с еврейским разговорным языком, национальным государством и всем западным комфортом. Де Вриндт внутренне горел огнем. Его глаза, крепко зажмуренные, искали цель на Храмовой площади, нет, парящую над нею, в облаках, тот небесный Иерусалим, подлинный, духовный, какой имелся в виду, когда пророки скорбели по городу и изливали утешение.

— Господь Бог мой, отверзни уста мои, и провозгласят они славу Тебе, — бормотал он довольно монотонным напевом негромкой молитвы, но что, собственно, имелось в виду? — Ты, что скрываешься от нас, услышь, как я плачу о Тебе. Ты, что оставил нас в беде, ах, я хотел бы биться лбом о башню Давидову. Ведь пустота в груди моей жаждет наполниться Тобою; Ты же как будто признаешь правоту тех, кто утверждает, что Ты не существуешь — уничтоженный астро-

номией, математикой и свободомыслием — и осталась от Тебя лишь тень, уже неспособная пробудить мессию.

Ведь собравшиеся здесь евреи твердо верили, что придет подлинный мессия, воплощенный и духовный, и с ним начнется возрождение Израиля.

— Созидающий мир в высотах Своих, да сотворит Он мир для нас и для всего Израиля. И скажите: «Аминь». — С этими словами де Вриндт сделал три шага назад и снова вперед, что символизировало расширение священного пространства, и двумя быстро произнесенными заключительными текстами завершил молитву.

Вскоре мужчины оживленно заговорили о новостях дня, а затем разошлись, рабби Цадок Зелигман и доктор Ицхак-Йосеф де Вриндт остались одни. Высокий, худой, с длинной седой бородой, словно подпирающей скулы, Цадок Зелигман, раввин самой ортодоксальной европейской общины Иерусалима, шагнул к длинному столу, взял фолиант Гемары, закрыл его, поцеловал и поставил обратно на полку. Кустистые брови, большие ясные глаза, горбатый нос; узкий, решительный рот жевал пожелтевшие от курения усы. Рабби Цадоку Зелигману хватило бы силы воли вести угнетенный народ через тяготы, но, к сожалению, к нему прислушивались лишь немногие. Ведь ему недоставало чутья к жестокой

реальности жизни, которая идет совсем иными путями, нежели пути Торы, но сам он как раз полагал, что вполне обладает таким чутьем. Однако он им не обладал, как и его друг де Вриндт, и это сейчас же станет ясно.

Они вышли в садик, над которым горело бутылочно-зеленое небо, в зените уже почерневшее, в искрах крупных звезд. Единственный кипарис, точно мощный столб дыма или пламя свечи, тянул ввысь свою острую вершину. Воздух уже расслабился, дышал кристальной чистотой, приятно было сидеть на жесткой каменной скамье, перед которой поставили столик с немногочисленными блюдами — сельдью, оливками и хлебом. Оба ели, пили подслащенную воду с лимоном, тихо совершили застольную молитву, приготовились покурить, рабби Цадок — трубку, де Вриндт — сигару, которую, бережно завернутую, принес в кармане и, пока разворачивал ее, обдумывал, как, особо не вызывая подозрений, объясниться с этим своенравным человеком.

— Рабби Цадок, — как бы невзначай начал он, — мы должны что-нибудь предпринять. Вы читали, как они на сей раз готовят свой конгресс и какой шум раздувают вокруг своего «Jewish Agency»? Мне хочется написать статью против них, под названием, к примеру, «Могильщики народа», а именно *ам-кадош*, священного народа. Ах, какой крик они поднимут, начнут меня

корить, что у моей ненависти мелочные причины! — Он рассмеялся.

Рабби Цадок Зелигман знал эти «причины». Де Вриндт сам приехал в страну как сионист, пламенный «мизрахи», надеявшийся благодаря своим способностям возглавить эту группировку. Рабби Цадока возмущало ходячее мнение, что его друг лишь потому, что эта надежда не сбылась, переметнулся в лагерь самых непримиримых противников сионизма, стал предателем из честолюбия. Он слишком доверял непобедимой силе и логичности раввинского иудаизма, Мишны, Талмуда, «Море невухим», «Шульхан арух» и других созданных на протяжении тысячелетий классических трудов верного Торе духа, чтобы мотивировать поступки де Вриндта столь двусмысленными причинами. Поверить такому могут наивные, никогда не ощущавшие в сердце своем чистого и сурового дыхания Торы. О, в лагере противников есть люди, раввины и миряне, в чистоте воления которых он, Цадок Зелигман, был уверен так же, как в своей собственной; просто они пошли на поводу духа времени, и он пронизал их насквозь, как одна капля ярко-красной краски быстро окрашивает целый таз воды.

— Да, — сказал он, — что-то должно произойти. Нам необходимо отмежеваться от них. Пусть мир услышит, кто единственно вправе говорить от имени Израиля. Не смешно ли? Эти люди с их

недолговечной организацией — а за нами три тысячи лет отцов и праотцев, поколение за поколением, и в современности миллионы верующих евреев во всех концах света.

Де Вриндт восхитился уверенным настроем друга. В этот миг он любил его мощную голову, прислоненную к стволу кипариса, обращенную профилем к светлому горизонту, всеведущую, как у патриарха. И рассказал ему о своем плане вновь обратиться к большой организации ортодоксальных евреев «Агудат Исраэль» по поводу нового синедрiona и о предварительной своей поездке с целью призвать робких, живущих в уединении раввинов и евреев Востока выйти перед всем миром и сказать: «Вот мы, и такова наша воля».

— Хорошо, — решил рабби Цадок Зелигман, — хороший план. И не забудьте о деньгах, рабби Ицхак, которые соберут наши друзья. Мы тоже должны создать фонды для поддержки наших здешних школ; ведь раньше, вы сами их видели, сюда приезжал ради своей ешивы рабби Мотель Хайдук из Цфата, как и рабби Исраэль Лёбельман из Хеврона и бедный заика рабби Давид Беренгар из Кинерета. Я думаю так: завтра вы изложите все необходимое на бумаге, а в ближайшие дни поездите по стране с опросом, подготовите статистику и анкету, а затем по дороге в Европу упорядочите собранный материал.

— Это вполне отвечает моим собственным желаниям, — кивнул де Вриндт. Один из солидных английских друзей предупредил, что на улицах слышали угрозы в его адрес, а потому для него целесообразно на некоторое время покинуть Иерусалим.

Раввин, ничуть не удивленный, заявил, что этого давно следовало ожидать. Люди, которые работают в шабат, строят дома, где поселятся евреи, люди, которые в шабат ходят с сигаретами возле храмов, лишь бы позлить верующих, люди, которые, даже глазом не моргнув, едят сразу мясное и молочное, — они грозят смертью признанным лидерам еврейского народа. От этих халуцников, или первопроходцев, от этих покорителей труда и страны, самодовольных и не подзревающих, что за ересь они насаждают в Святой земле, от них всего можно ожидать. Но уже поэтому надо показать им, какая пропасть зияет между ними и представителями подлинного еврейского народа, верующего народа. Между правверным мусульманином и верующим евреем и пропасть меньше, и отчуждение не столь велико, как между Цадоком Зелигманом и любым из этих воинствующих богохульников. В конце концов пора внести ясность.

— Я вот что думаю, — сказал он, — мы сделаем следующее. Время сейчас опасное, знаю, но Судья Земли направит его к лучшему. Как вы

думаете, рабби Ицхак? Если мы испросим аудиенции у Верховного комиссара или у губернатора Иерусалима и разъясним этим англичанам, что их ввели в заблуждение, сделав сионистов представителями еврейского народа? И что теперь это заблуждение будет продолжаться, если их приверженцев сочтут защитниками дела евреев, и что через несколько месяцев соберется духовный совет наших раввинов, который должен бы иметь у них большой авторитет, нежели господин Вейцман? И что мы легко могли бы достигнуть соглашения с мусульманами о ситуации в стране? Разве нам важна, к примеру, иммиграция столь чуждых работников? Разве в наших учебных хозяйствах в Польше готовят к переселению сюда недостаточно юношей, верных Торе? Быть может, пройдет несколько больше времени, пока они достигнут зримых результатов; но безумие количества, каким сионисты стремятся обеспечить себе большинство в стране, — мы его не разделяем. Зачем нам еще больше молодых атеистов в святых местах? Завтра четверг, в пятницу нельзя из-за грядущего шабата, в воскресенье у христиан выходной день — предлагаю нам с вами отправиться к губернатору Иерусалима и к Верховному комиссару в понедельник или во вторник и устно и письменно изложить наши права. Вы их подготовите? Это ведь ваша профессия, рабби Ицхак.

Размышляя вслух, де Вриндт сказал:

— Вы бы согласились с приблизительно такой формулировкой... как основой нашего соглашения с арабами, которое так важно для англичан... во-первых, мы устраним теперешние сложности в споре о Стене Плача, удовлетворившись как защитники еврейского народа гарантированным правом неограниченного использования площади и Стены для наших молящихся... правом пользования, понимаете, а не правом собственности, что закроет вопрос о Храмовой площади. Во-вторых, взамен — мы пока что опираемся только на обычное право — мы предложим арабам союз против притязаний нового «Jewish Agency» и выразим готовность поддерживать их, если они, как и мы, потребуют гарантий от злоупотреблений и ущемления их прав.

Они вели разговор на идише; в задушевной архаичности этого языка, возникшего столетия назад как узловатый сук на стволе великого средневерхненемецкого, эти предложения звучали бесхитростно, сердечно, почти трогательно. Мысленно де Вриндт переводил их на голландский, но и тогда они казались вполне безобидными. Почему бы и нет? Он был юрист; страсть к резким размежеваниям горячила ему кровь, наполняла дрожью восторга. Заблуждение друга, будто его жизни угрожают еврейские фанатики, исправлять не стоит; оно послужило раз-

ве что стимулом к действию. Конечно, сионисты поднимут крик; однако непрерывным вызовам в городе и деревне необходимо положить предел, показать христианам и мусульманам, каковы границы собственно еврейской позиции. Это хорошо, даже очень хорошо. Отлично вписывается в позднейший план, означает одновременно создание нового синедриона и Фонда Торы. А какое удовольствие изложить эти фразы и духовные принципы на лаконичном английском и сразу же на беглом арабском! Улыбаясь в темноте, он спросил:

— А как мне отнестись к угрозам убийц?

Тоже с улыбкой Цадок Зелигман ответил:

— Я так глуп, чтобы давать вам совет, рабби Ицхак-Йосеф? Как ваши тезки, патриарх Ицхак и Йосеф Египетский, относились к подобным опасностям, когда их сердца пугались безбожных братьев или кинжала отца? С ними ничего не случилось, и с вами тоже ничего не случится.

Немногим позже писатель де Вриндт смело, гулким шагом шел домой по освещенным луной улицам — посреди мостовой, но только потому, что нуждался в пространстве, в свободе для локтей. Он знал, с ним ничего не случится. На ходу он формулировал фразы своего меморандума, тщательно сохраняя дух каждого языка. На

приоткрытых губах играла улыбка. Невысокая фигура в черной широкополой шляпе и черном костюме направлялась к своей цели прямо-таки деловито, сопровождаемая весело скачущей тенью. А кстати, и человеком в каракулевой шапке, который держался в потемках и был слегка раздосадован (хотя вместе с тем и очень обрадован) своим бесконечным, чисто русским визитом к торговцу Тулипману.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ночью

Среди ночи доктор де Вриндт неожиданно проснулся. Он долго писал, переносил на бумагу фразы четко сформулированной прозы, по-голландски, по-английски, по-арабски; вероятно, напряжение туго натянутых нервов теперь мстило за себя. Сидя в постели, он пытался успокоиться. Что это было? Кто-то его окликнул. Шепнул какое-то сообщение, прямо в ухо и так грозно, что оно разорвало оболочки сна, свинцовый покров отсутствия в обязательной реальности. Как же оно звучало?

От окна наискось через всю комнату протянулась широкая белая полоса лунного света, но не она разбудила его, сидящего здесь, прижимающего ладони к вискам, чтобы лучше думать. Затихнуть в безмолвии, как ночь снаружи и город, чтобы во взлетах и падениях внутреннего процесса вновь всплыло из глубины только что утерянное слово... Нет, лучше лечь, отрешиться от воли, надеяться и ждать. Вот он опять,

беззвучный образ: «Рукопись!» Он отбросил в сторону белое шерстяное одеяло, сунул ноги в тапки, одернул пижаму: ночь в гористом городе Иерусалиме и летом дышала холодком. Да, рукопись! Коль скоро угроза начала прогрызать бытие человека, как древоточец древесину, в которой тикает, она вылезает повсюду, и повсюду с ней нужно бороться. Что может случиться? На периферии его жизни возникла полиция, арест молодого арабского учителя, его показания против доктора де Вриндта: вероятно, и ему самому не избежать допроса. Затем домашний обыск, чтобы отыскать отягчающие его документы, — о, арабы из числа палестинской полиции медлить не станут. Их усилия — де Вриндт презрительно скривил губы — он встретит спокойно; того, что ищут, они не найдут. Но что, если они наткнутся на ту рукопись, на новые стихи, подсунут их адвокату своей партии, прикажут зачитать в зале суда, что этот богобоязненный де Вриндт, от которого никак не ждут заблуждений, понаписал против Бога, черным по белому, неизблемо, неистребимо? Разве такого отреченца и богохульника нельзя заподозрить и в совращении мальчика? «Послушайте сами, господа...» — и его возбужденная фантазия уже слышала звуки собственных стихов в недоброжелательной и любопытной атмосфере зала суда... Последствия — представить себе невозможно! Друзья,

богобоязненные, не слишком открытые искусству души!

Не зажигая света, он поспешил к столу, бесшумный, белый, словно призрак себя самого. Из среднего ящика достал кожаную тетрадь с плотными листами голландской бумаги, на первом из которых стояло слово «Четверостишия», а выше зачеркнуто «Допрос Бога» и, тоже зачеркнуто, слово «Вопросы». Только имя автора внизу без поправок, место — Иерусалим — и год. Он подошел к окну; поднесенные наискось к молочно-белой полосе света, его глазам и знающей памяти вполне отчетливо являлись черные четверостишия:

Всю жизнь, всю жизнь себя я вопрошал,
Где, Господи, Ты скрыт. Открой секрет.
И вот мне кто-то в ухо прошептал,
Что без Тебя устроен белый свет.

Это же явное отречение, недвусмысленное. О, и в его лагере есть образованные мужчины и женщины, признающие за поэтом полную свободу изображать и ужасное. Но предстать-то перед ними оно должно достойным образом, не внушая подозрений, как сочинение, подкрепленное оценкой просвещенной общественности, то есть публики, для которой в начальном и конечном счете нет ни евреев, ни христиан,

есть только поэты или графоманы. Если бы нечто подобное вышло в Голландии, у почтенного издателя, напечатанное благородной антиквой, то и здесь, в Иерусалиме, и вообще повсюду был бы создан соответствующий настрой для восприятия таких стихов — предвкушающе-радостное душевное расположение, составляющее тайну хорошего читателя, первый дар поэта ему и одновременно плата, какую он возвращает поэту. Тогда они, рабби Лёбельман или рабби Гирш Цейтлин, еще могли бы его упрекнуть, но происходило бы все в достойной атмосфере духовного спора. Однако ж дело обстояло бы иначе, совершенно иначе, если бы такое с размаху швырнули им в лицо злорадно ухмыляющиеся газеты; выкраденное из рукописи, обрывками нагло зачитанное скалящими зубы адвокатами:

На мой призыв Твое звучало эхо.
И в будущем оно же прозвучит.
Но нынче сердца крик Тебе помеха,
Нет отзвука. Пусть сердце замолчит.

За что Ты Моисея покарал?
За то, что он нанес злодею рану?
Он не достиг Земли обетованной.
А Ты ведь обещал. Ты обещал.

КНИГА ПЕРВАЯ. УЧЕНЫЙ В ОДИНОЧЕСТВЕ

О Господи, взгляни на Твой народ,
На искаженный лик Иерусалима.
От жалости застонет даже скот,
Но сердце Господа неумолимо.

Как его рот, его собственный язык говорил в
каждой дневной молитве? «Слава Тебе, Господь
во веки, Бог наш, за Твою великую сострадатель-
ность...»

Смеемся, избежав Твоей заботы,
Ликуюем, нанося себе увечья.
И адский путь в мучительную вечность
Дороже нам, чем райская дремота.

По комнате повеял ветерок, шевельнул што-
ры, пробежал по страницам бесценной бумаги.
Донес издалека вопли шакалов. В коридоре за-
шуршала мышь. Счастье возвысило сердце чита-
ющего человека, упоение тех, кто восхищен сво-
им собственным:

Что, если план творенья был дурен?
Ведь человечья плоть, увы, порочна.
Твоим тавром был дух наш заклеимен.
Ты сам творил, но криво и неточно.

Ты дал Луне способность править влагой,
А людям — языки и вожделенья.

Арнольд Цвейг. Возвращение в Дамаск

Как от кощунства защитишь Ты благо?
Ведь и в раю живут Твои творенья.

В кольцо, в кругу заключены все вещи,
В оковах, что врастают в плоть.
Они звенят, кощунствуют, скрежещут.
Тогда Ты обновляешь их, Господь.

Да, слава и хвала Тебе, Господь,
Когда дожди растенья заливают,
Когда из стен камня выпадают,
Роса поит песок, не страждет плоть!

Так продолжалось и дальше. Тщетно искать
в этой неистовой страсти мягкий тон, который
прозвучал бы безопасно. Разве же вот это не от-
кровеннее, не вероломнее?

О Господи, мой Бог, за что меня терзаешь?
Тебе во всем всегда я подчинюсь.
Ужель того же, что и я, желаешь?
Завидуешь? А я Тебя боюсь...

Это уже мягче. Может показаться примири-
тельным. Но дальше-то, увы, стоит вот что:

Твои уши забиты и воском, и шерстью, и ватой,
Твои руки — как кожа форели: слишком
скользят.

И Твой дух так высок, что всегда мы во всем
виноваты.

Ты нам, белым, подходишь: бессмертен, и
крепок, и свят.

Да, и еще раз да, это стихи его темной стороны, наверно, они бушевали в первозданном месиве его грез каждый час сна — он вовсе не намерен от них отречься! В нем по-прежнему жил вольнодумец, который, точно волк, вырвался из загона юношеской веры и до сих пор не расстался с волчьими зубами, с волчьей челюстью. Только он больше не отворачивался от Бога, не был уже столь неискушен, чтобы верить, будто Бога можно просто отбросить, оставить дома, как детские сказки и детские костюмчики. Скорее, он был волком на привязи, прикованный цепью к чрезвычайно реальной вещи, к исполинскому существу, на которое нападал.

Он ни от чего не откажется. Это лучшее, что ему когда-либо удавалось, и, если надо заплатить за публикацию, он заплатит. Нельзя допустить только одного — злоупотребления этими страницами.

Де Вриндт вдохнул воздух — точно бальзам, он прихлынул на крыши с гор Иудеи, насыщенный благословенной морской влагой. Не лучше ли пойти сейчас прогуляться, наведаться под короткие черные тени олив, где перекликаются

шакалы, или рожковых деревьев, называемых здесь харубим? Но может статься, там, внизу, в черных нишах, наполненных, точно чернилами, непроглядной тьмой, уже караулит убийца? Все равно — уймись, сердце, не бейся так сильно! Тебе чудятся призраки, и не только там, внизу. Вот и опасность, исходящая от этой рукописи, — наверно, безмолвная угроза снаружи преувеличивала ее... эхo ужасной новости, что вторглась сегодня в его жизнь — сегодня! — не дни и недели назад, как мнилось его ощущению... Все равно, еще раз. Он обещал Эрмину отныне соблюдать осторожность, этому англичанину, о котором думал как об утешителе и защитнике, дарованном Богом. Надо будет в ближайшее время прочесть ему несколько стихотворений, по-голландски, пожалуй, одно-два в переводе на английский, когда родство языков более-менее позволяет сделать перевод. Необходимо только беречь рукопись, глаз с нее не спускать, всегда носить с собой. Ведь он, доктор де Вриндт, человек с черным кожаным портфелем, как сотни тысяч других на улицах западных городов. Вон он на стуле, верный портфель, словно клочок ночного неба, замок мерцает, словно звезда. Внутри есть запирающееся отделение, предназначенное для самого важного, что есть у современных людей: для банкнот или чековой книжки. Смеясь, он взял портфель, открыл и осторожно положил

Книга первая. Ученый в одиночестве

туда свою ручной работы тетрадь. Она как раз уместилась, аккуратно вошла, даже шелковисто-мягкий край не смялся.

Ну вот и хорошо. Теперь приходи, сон второй половины ночи, утешитель тех, кого тревога и беда жизни заставляли бодрствовать, пока светило плыло по своей восходящей орбите...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Симпатия людей

Положение, даже самое опасное, по-разному выглядит ночью и наутро, в полдень, когда свет, яркий и беспощадный, называет все вещи своими именами.

Обычно де Вриндт столовался в пансионе своего соотечественника Бейкермана, расположенном в саду, на лоне природы, сейчас зелено-серой, состоящей из пыльных пальм, кустарников и виноградных лоз. Вентиляторы проветривали затемненную столовую в нижнем этаже; при свете электрических ламп официант Георг, разговорчивый немец, и величественный чернокожий суданец в подпоясанном красным кушаком белом льняном кафтане и красном тарбуше обслуживали немногочисленных посетителей, рискнувших прийти сюда в невероятный полуценный зной. Обитатели пансиона — врачи, ученый из университета, три американские дамы и очень бледный художник из Австрии — обедали за отдельными столиками.

Доктору с рыжеватой бородой и прищуренными глазами пришлось несколько минут дожидаться заказа. Подобно многим нервным людям, де Вриндт был не в состоянии спокойно высидеть эти несколько минут, ничего не делая. Он достал из портфеля обращение к властям, перечитал, наморщив лоб, — вчера ночью написанное казалось ему таким удачным... А теперь звучало не в меру высокопарно и торжественно. Почти все фразы вызывали досаду, но ничего не поделаешь. Между первым вариантом и последним приходилось сражаться со своим критическим вкусом, пока достаточно не изругаешь и не удовлетворишь свое капризное чувство стиля, пока не выгацишь из первой редакции самое важное, не добьешься достойного общего впечатления.

К счастью, Али принес первое блюдо, и де Вриндт приступил к трапезе. Съел холодный свекольник, потом большой кусок хорошо фаршированной рыбы, доставленной на льду с Генисаретского озера, превосходные овощи, мяса сегодня чуть-чуть. Запивал он все это охлажденным апельсиновым соком и как раз приступил к десерту, фруктовому пирогу, когда из темного угла, где обедало само семейство Бёйкерман, отделилась кругленькая фигура доктора Глускиноса. Преисполненный наигранного рвения, он направился к де Вриндту, круглые попутайские

глаза и вся его упитанная фигура поистине лучились укором.

— Я наблюдал за вами, — хрипло начал он и откашлялся. — Хорош пациент! Я вас снова посажу на диету! И не говорите никому, что лечитесь у меня. Что еще вы собираетесь съесть?

Де Вриндт расхохотался — редкие желтые зубы блеснули в электрическом свете, — откинулся на спинку стула, протянул руку доктору Глускиносу.

— Все, что есть в меню. Орехи, инжир, надеюсь, миндаль из Кирьят-Анавима, горячий чай и выкурить голландскую сигару, которую менеджер* Бейкерман как раз достает из самого сырого уголка своего буфета. Садитесь, доктор, и присоединяйтесь.

— Присоединиться! Мне! — добродушно возмутился Попугай, хлопая тяжелыми веками; потом ущипнул доктора де Вриндта за плечо под желтоватым холщовым пиджаком. — К вашим поминкам присоединюсь, понятно? Сколько сахара я обнаружу у вас в моче? Нисколько, говорите? Посмотрим, посмотрим. А какие тоны сердца я услышу? Вы руинируете мою практику. Люди берут с вас пример, вам надо есть салаты, поменьше хлеба, поменьше сливочного масла, понятно? И воздерживаться от жирных

* Господин (нидерл.).

соусов мадам Бейкерман. И от ужасных пряностей, какими вы сдабриваете мясо, необходимо отказаться. Нет, — он схватился рукой за бритый череп, словно взъерошивая отсутствующие волосы, — я откажусь от вас как от пациента. Вы ведь знаете, Иерусалим разрушает сердце, так почему же способствуете его разрушительному действию? Если бы мог, я отправил бы вас в Моцу, к доктору Кляйдерштейну, уж он бы держал вас в узде. — Доктор Глускинос, уроженец Позена*, во время войны служил лекарем в прусском артиллерийском полку и любил кавалерийские выражения. — А еще лучше в Цфат, в какой-нибудь достойный пансион, и перечень блюд я пошлю кухарке, а не вам.

Доктор Зигфрид Глускинос, человек, беспрерывно загруженный работой, был вообще далек от самоанализа. Пусть им занимаются люди, в чью дверь обнищание масс и физическая слабость стучатся менее навязчиво. Однако сегодня он сам себе удивлялся. Вчера, то есть лишь несколько часов назад, он был страшно напуган из-за своего друга де Вриндта и полагал, что никогда больше не сможет говорить с ним непринужденно. Теперь же не только делал вид, будто ни о чем не знает, — ему и вправду так казалось, ничего не изменилось, он выругал этого челове-

* Позен — немецкое название г. Познань (ныне в Польше).

ка только за его отношение к собственному здоровью и по той же причине хотел отослать его из города. А де Вриндт думал: как хорошо, когда люди принимают столь горячее участие в непослушном пациенте, то бишь в человеке, с которым не состоят ни в родстве, ни в свойстве.

— Значит, по-вашему, в ближайшие дни мне вполне полезно ради анкеты отправиться за пределы города? При тридцати пяти — сорока градусах в Хеврон или в Тверию?

— Да, именно так! — сердито отозвался доктор. — Самое разумное — ехать рано утром и ночью, днем в меру ходить пешком, а в самый зной сидеть в комнатах, но такого от вас едва ли можно ожидать. По-вашему, куда разумнее пылиться среди книг и при нехватке движения отъедаться у мадам Бейкерман, да? Идея отличная, что и говорить. Вам необходимо движение, свежий ветер, плавательные бассейны и несколько недель Ливана или Кармеля.

— Ливан, — лукаво ответил де Вриндт, — никак не годится; Кармель, пожалуй, куда ни шло. А как ваша милость отнесется к поездке в Европу, морем, через три-четыре недели, и к золотой осени в Австрии?

— Шутите, — вскричал Попугай, сопя носом, — конечно же вы шутите! На такой благоразумный поступок вы не способны. Или ваши доходы тают?

Доктору Глускиносу, как и другим друзьям де Вриндта, было известно, что живет он на небольшое наследство, вложенное в Голландии. Хотя эта богатая страна меньше остальных районов Европы страдала от падения цен на сырье, доходы на капитал и там снижались, так что предположение доктора Глускиноса имело под собой определенные основания.

Рука мистера Эрмина, мысленно восхитился он, когда де Вриндт рассказал о своих планах, опасность теперь ушла за горизонт. План он оценил несколько скептически, но в целом одобрил. Де Вриндту надо уехать и вернуться после сезона дождей. Январь в Иерихоне соперничал с любой европейской зимой.

— На вас рассчитывают, де Вриндт! — сердечно сказал он. — Ваше здоровье не должно подкачать. Зачем делать вид, будто вам об этом неизвестно? А для поездки я обеспечу вам лучшего шофера, богобоязненного еврея, Эзру или Шмарью бен Давида, и автомобиль, на котором хоть на деревья взбирайся.

Стало быть, на завтрашнее утро, благодарно подтвердил де Вриндт; шабат он будет праздновать в Хевроне. До тех пор надо всего лишь переписать начисто небольшую работу, которая в середине следующей недели вызовет немножко шума, хорошего, плодотворного шума. Взглядом он поискал портфель, черный, запер-

тый, стоящий возле стула. Как надежно спрятаны там листы и записки, исписанные свободно и густо, мелкими буквами латиницы, без нажима.

В пятницу, ни свет ни заря, перед домом гудит клаксоном маленький шустрый «форд» Эзры, шофера. Сквозь толчею феллахов, держащих путь на рынок по Вифлеемской дороге, их навьюченных ослов, величаво выступающих верблюдов он, весело зажав в зубах сигарету, выезжает из города: курс на Хеврон. Доктор де Вриндт, положив рядом с собой портфель и пыльник, высовывается из открытого окна, восхищенный утренней ясностью. Как глупо, надо было давным-давно предпринять такую поездку.

Бело-серая местность словно бы с почтением катится мимо посланника Торы. Они едут по дороге царского дома Давидова, это — сердце Иудеи, каменистое, изрытое потоками древних ливней, безлесное, однако на всех равнинных участках засаженное зеленью и орошенное. Слева остаются Соломоновы пруды, полуопустевшие резервуары; словно щит, их прикрывают руины времен Крестовых походов; акведук римской эпохи, некогда надземный, еще совсем недавно погребенный глубоко в толще земли, теперь вновь работает. Этот край никогда не спал, как не спит и не дремлет Тот, кто взял его под

Свою особую любящую защиту. И современный автомобиль как бы сближает его чудесные святыни. Сегодня пятница, к началу шабата он вполне мог бы вернуться в Иерусалим, но проведет священный день отдыха в Хевроне, споет перед свечами любовный гимн рабби Соломона Алькабеса, на следующий день совершит полслеполуденную молитву под теревинфом* Авраамовым, который по-прежнему стоит со времен Ефрона и хеттеян, огромный, с отмершим стволом и новыми живыми побегами. В пещеру Махпела он не пойдет, вот как сейчас проезжает мимо гробницы Рахили, что ждет возле дороги, и как не может сейчас обратить внимание на ответвление дороги в сторону Вифлеема. Ведь Вифлеем с его светловолосыми потомками крестоносцев присвоили себе христиане, а пещеру Махпела заняли мусульмане, заделали, накрыли куполом, окружили узкими переулками; самые назойливые гиды со всей Аравии кишат вокруг и словно мухи налетают на путешественников. Ах, тяжело ощущать, что собственно Эрец-Исраэль и край иудейский пока что лежат глубоко в недрах земли и чужие культуры пока что по праву сильного заселяют его поверхность — усилия ложные и преходящие. Но скалы настоящие, и земля, и небо, еще бирюзовое, еще не прокален-

* Теревинф — фисташковое дерево.

ное солнцем, и все эти складчатые долины, все эти камни, видевшие величие Иудеи и ее падение, тоже настоящие. О, он, де Вриндт, сидящий в черном кожаном кресле и жадно вдыхающий попутный ветер, — он человек образованный, он умеет подавить даже малейшую насмешку, какую поневоле вызывают у него религиозные сооружения мессианских религий, все эти церкви Гроба и Рождества, гроты Марии и пещеры пророков. Он знает, что гробница Иосифа вовсе не гробница Иосифа, что гробница пророка Самуила, вероятно, находится в окрестностях Мицпы, но необязательно там, где указывают гиды, и что все сооружения и надписи суть бранные творения рук человеческих. Разве улицы подлинного Иерусалима, святого града, не погребены на глубине метров восемнадцать под обломками разрушений, над которыми проложены нынешние бульжные мостовые? И что значат для серьезного искателя в сравнении с этим нынешний Крестный путь с его Пилатовыми дворами, домами Каифы и остановками? И разве не счастливы археологи, когда раскапывают руины и останки, полы и колонны времен римской Иудеи, эллинистической, эпохи Ирода, Агриппы и Антигона, представляющие собой самый конец иудейской античности, даже не ее позднюю форму? Нет, господа современники, подлинная земля Израиля появится, когда испол-

нится время, когда люди созреют, чтобы жить по Закону Синая и устному учению, и не станут восхвалять эфемерный 1929 год как вершину всего предшествующего развития, ибо он не более чем глубокая ложбина нисходящей волны. Да, там, внизу, лежит Хеврон, где еврейское меньшинство живет в тесном соседстве с двадцатью тысячами арабов, особенно обидчивых мусульман, которых легко взвинтить до фанатизма, — мелких обывателей, зараженных националистическим просвещением в школах, учительских семинариях и туристической индустрии. Местные евреи говорят, что вполне ладят со своими соседями; но здесь живут только евреи старой закалки, набожные люди, есть ешива, или высшая школа Талмуда, занимающиеся коммерцией семейства, множество детей. Землей владеют турецкие эфенди; город широко раскинулся на холмах, которые некогда видели стада Авраама и рошу Мамре.

— Ягуд, ягуд! — кричат дети на дороге. Камень гремит по металлу за спиной. Возможно, он вылетел из-под колеса, но Эзра, шофер, знает эту округу. Знает, он в Хевроне, и камень бросил арабский ребенок.

Машина со скрежетом останавливается перед зданием, где, чуть в стороне от Главной улицы, расположена ешива рабби Исраэля Лёбельмана. Приезжего, ученого доктора де Вриндта,

светило Израиля, радостно приветствуют и засыпают вопросами. Да, он проведет шабат здесь, с благодарностью воспользуется гостеприимством коммерсанта Слонимского, у него множество детальных вопросов, и на все нужны ответы; сыны Торы тоже разбираются в современных анкетах. Днем в воскресенье он вернется в Иерусалим и обработает хевронские результаты. В среду нужно подготовиться, ведь в четверг — большой день. Вместе с нашим учителем рабби Цадоком Зелигманом он будет говорить с Верховным комиссаром и раз навсегда даст отпор маниакальной страсти сионистов представлять еврейский народ, а кроме того, одновременно войдет в контакт с партией муфтия по поводу Стены Плача и откроет новую эру еврейской политики в Святой земле. Так что утром в четверг, в одиннадцать часов, должно читать молитвы об удаче доброго дела.

— Мы будем до полудня поститься, — восторженно обещают учащиеся ешивы. Ведь мужчины и юноши вокруг де Вриндта, как и он, почти не имеют доступа к реальности — замкнутые в самих себе и своем духовном мире... Конечно, можно назвать его более важным, чем наш, обычный; однако же он не дарует им способности заранее предчувствовать ответные реакции и последствия, какими чреваты серьезные события.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

С ПОЗИЦИЙ НАМЕСТНИКА

Пятница у мусульман день отдыха, но это не очень заметно, поскольку в Иерусалиме живет вдвое больше евреев и солидное число христиан. И тем отчетливее чувствуется следующий далее шабат — начиная с вечера накануне, когда *шомрей шабат*, или хранители шабата, ходят от лавки к лавке, старые и молодые евреи с пейсами, в длинных кафтанах из шелка в коричневую полоску, в плоских шапках из лисьего меха, следят, чтобы ни одна еврейская лавка «по нечаянности» не закрылась с опозданием. От поздних послеполуденных часов всю субботу до глубокой темноты — шабат заканчивается, только когда на небе являются три яркие звезды, — город Иерусалим отдыхает, а с ним и вся общественная жизнь, даже автобусные маршруты. Люди не ездят, не зажигают свет, не музицируют, не курят — строгие предписания, выведенные из простых правил шабата древности и, точно ограда, окружающие учение, возвышают этот день от-

дыха, делают его днем созерцания, спокойного раздумья, священных песнопений, продолжительных трапез (всю еду, конечно же, достают из ящиков-термосов, изобретенных евреями в незапамятные времена). И многие светски настроенные евреи избегают открытых возражений, хотя после рабочей недели были бы весьма не прочь предпринять вылазку на Мертвое море или в горы; ведь для врачей, адвокатов, чиновников-сионистов, торговцев, рабочих и ремесленников следующее далее воскресенье — полноценный рабочий день, от которого себе ничего не урвешь, тем более в такие тяжелые времена. Однако ж это день отдыха администрации, от мельчайших консульств христианских держав до сотрудников Верховного комиссара, наместника Иудеи, и проводят его на английский манер, не слишком интересно.

Приятно посидеть в клубе высокопоставленных чиновников администрации на открытых воздухе и свету высотах Масличной горы. В послеобеденные часы кое-кто из мужчин еще задерживается в Тальпиот на площадке для поло (подготовка к соревнованиям в более благоприятное время года), поэтому здесь пока довольно малоллюдно. В этот час мистер Эрмин (Т. П.) обычно разыгрывает с мистером Робинсоном (П. О.) партию в шахматы, и мистер Робинсон

зачастую выигрывает. Большой фантазией он не отличается, его упрямая голова — длинное лицо, прямой пробор — не в состоянии раскусить произвольные комбинации полицейского, но он не сдается, играет методично, используя любую оплошность, допущенную противником. И нетерпеливый Эрмин предпочитает проиграть партию, чем мучиться со скучными эндшпилями Робинсона. Сегодня в роли болельщика выступает молоденький лейтенант конной полиции, он сидит верхом на стуле, следит за игрой и одновременно разглядывает картинки в допотопном журнале. Игра идет лениво, между ходами много разговаривают. Воскресенье вроде этого, с его гнетущим зноем, усыпляет всякое честолюбие. Негры в белом бесшумно разносят охлажденную на льду содовую и добрый шотландский виски.

Лейтенант Машрум громко смеется, показывая подпись к фотографии, где корпулентный эмир Трансиордании вкупе со свитой запечатлен возле французского танка, грозного чудища из стальных пластин, заклепок и оружейного ствола.

— «Его королевское высочество эмир Абдаллах во время визита в Париж восхищается французским оружием», — читает он. — Мог бы и не ездить в такую даль, в Дамаске их на улицах полным-полно, как тележек зеленщиков.

— Французы держат в Сирии круглым счетом двадцать тысяч человек. Мы же в Палестине обходимся шестью офицерами, семьюдесятью шестью солдатами, шестью самолетами, девятьюстами пограничниками, включая кавалерию вашей светлости, вот в чем разница, — говорит Эрмин Машруму с дружелюбной насмешкой. Расправляет усы, раскуривает трубку. — Пока мистер Робинсон думает, — продолжает он, — можно обсудить оборонительную позицию Ближнего Востока.

Господин Робинсон нетерпеливо качает головой, он замыслил каверзу против Эрминова короля и намерен ее осуществить, прежде чем противник рокировкой испортит основу его стратегии. И все-таки вполуха слушает.

— Мы, — бормочет он, прикусив мундштук трубки, — удерживаем эту страну через ее собственные сумасбродства, выражаясь политически. Надо только ждать, — продолжает он, передвигая своего коня. — Арабы или евреи всегда вовремя пойдут тебе навстречу.

— О, вы великие искусники, — иронизирует Эрмин, — вам как сынам Божиим все пути должны содействовать ко благу. — И он бьет коня пешкой, скромной черной фигурой, которую методичный мистер Робинсон проглядел. (Между нами, в шахматах оба отнюдь не великие искусники.)

Мистер Робинсон хрустит пальцами, удивленно и нервно, старается не подавать виду, что несколько растерялся, и с предельным спокойствием продолжает:

— Да, они никогда не оставят нас своими склоками. В ближайшие дни тому будут примеры. Кстати, вы знакомы с профессором де Вриндтом?

Эрмин с удивлением смотрит в сухое бритое лицо партнера:

— Хм, профессор. А что с ним такое?

В ту пору, когда еще не было Еврейского университета, де Вриндт читал лекции по юриспруденции, очень популярные у слушателей и остроумные. Но все это давно в прошлом. Студенты вынудили его прекратить лекции, поскольку их не устраивали его политические взгляды. Для мистера Робинсона подобные строптивости не существовали. Профессор всегда профессор.

— Лидер правого крыла ортодоксальных евреев, архипротивник сионистов, которые так на нас наседают: тут недостает разрешений на иммиграцию, там отклонили ходатайства о правительственной земле и прочая. Почтенное имя мистера Бальфура у них с языка не сходит, а их профессор Вейцман чуть что сразу в лондонском МИДе или в Женеве.

— Пропади они пропадом, — вставляет лейтенант Машрум, — лично я за арабов. Эти сто-

ят навтыжку и рады приказам. А евреи любое распоряжение встречают кучей «почему?», чем и кого поумнее повергают в замешательство. Кроме того, они портят романтику страны. Что такое их Тель-Авив? Уродливый кусок Нью-Лондона, типичный европейский произвол. То ли дело Акко! Греза Востока, окаменевшая красота. Наполеон и тот не сумел взять этот город!

— Лейтенант Машрум молод, — замечает Эрмин, — а Акко в самом деле очень красив. Вдобавок евреи в Тель-Авиве на последних скачках взяли верх над его командой.

Мистер Робинсон усмехается. Он всегда с удовольствием ставит военных на место и радуется, что бывший капитан-фронтовик стал совершенно цивильным чиновником.

— Да, — говорит он, костлявыми пальцами извлекая из тылов второго коня, чтобы упрямо (таков уж он есть) заменить потерянного, — верхом они ездят уже вполне прилично, но разве они получили землю, которой так домогались? Ни легионеры давних времен, ни господа с Грейт-Рассел-стрит — там сидит исполком сионистов в Лондоне, — ее не получили. В нужный момент непременно происходит политический поворот. Я не за евреев и не за арабов. Я за хорошее управление посредством дальновидной политики. Прошу, мистер Эрмин!

Эрмин в эту минуту думает о де Вриндте, причем весьма сердито: что этот чертов малый опять натворил?! При этом он смотрит на свои фигуры, приходит к выводу, что для рокировки еще не время, и неожиданно обнаруживает возможность пробить центр атакующей комбинации человека из политического отдела и пешкой объявить гардэ вражескому ферзю. Это пешечная партия, в ней главенствуют пешки — опасная мелочь.

— А что такое с мистером де Вриндтом? — Это он произносит вслух.

Мистер Робинсон предугадывает гарде. К этому он готов. Всегда пешки против пешек, думает он и в свою очередь делает ход маленькой белой фигурой.

— Он подал ходатайство от имени своей организации. Пишет на весьма цветистом английском, чуть ли не шекспировском, в библейском стиле. Что бы вы сказали, если бы в вашей корреспонденции встречались фразы типа: «непередаваемые права духовного существа» и «поборники созданной на Синае конституции»? Полный вздор, скажу я вам, но может нам пригодиться. В среду или в четверг мы примем их и арабскую знать и выслушаем их пожелания, которые практически сводятся к ограничению деятельности сионистов и создаваемого ими «Jewish Agency». Полагаю, что даже еврейская пресса оставит свою сдержанность и поднимет шум. Надо отдать

этим людям справедливость, — добавляет он, постукивая пальцем по своему королю, — они достойны сожаления. Конечно же их до крайности раздражает, что они могут ступить на собственную Храмовую площадь только за бессовестную плату — ни много ни мало тридцать пиастров, — которая идет в карман их врагов. А как раздражали их муфтий и его народ все эти месяцы, когда использовали любую, самую крохотную правовую зацепку насчет Стены Плача, что, мол, она должна теперь стать их центром!

— Интересно, кто, — зевая, спрашивает Эрмин, — подкинул чертовски хитроумную идею наглядной пропаганды?

Мистер Робинсон с улыбкой пожимает плечами:

— Автор неизвестен, орудие — арабская газета «Уль джамеа уль арабийят» и обычные агитаторы. Сама затея почти анекдотична, но чрезвычайно остроумна.

Лейтенант Машрум просит разъяснения и получает его, поскольку мистеру Эрмину требуется время, чтобы отразить скромный ход слоном. Эрмин слушает, не сводя глаз со своих фигур. Такие разъяснения на дороге не валяются.

Дело в том, что по стране распространилось фото Купола Скалы с еврейской надписью и бело-голубым сионистским флагом: смотрите, вот наконец-то выясняются подлинные намерения

евреев; они отберут у вас святыню, если вы не поднимете протест! В действительности фотография была неловкой попыткой рекламы захудалой ешивы в благодарность за денежные пожертвования, подобно тому как христианские монастыри и больницы порой использовали в таких целях снимки церквей Рождества и Гроба Господня, — как бы благочестивое изречение, настенное панно. Эта «мечеть» являла собой фантастический храм, в довершение всего напечатанный задолго до войны. Однако на обывателей Наблуса, на крестьян Самарии фото подействовало, кровь бросилась им в голову, и они сжали кулаки.

— Стало быть, фальшивка? Политическая фальшивка? — сонно спрашивает Эрмин и делает ход.

— Совершенно верно, — отвечает мистер Робинсон, делая ответный ход. — Только вот запретить ее нельзя, потому что законодательство не дает такой возможности и потому что нам нельзя вмешиваться, когда сыны страны клеветуют друг на друга.

— Евреи сами виноваты, — замечает лейтенант Машрум. — В церковь Гроба Господня орден их тоже не пускают, и они терпят.

— Ничего при этом не теряя. — Эрмин слегка кривит уголки губ. — Здешние склочники, христиане ли, нет ли, никакому разумному протестанту не понравятся.

— И что же им делать? — насмешливо спрашивает мистер Робинсон.

— Сражаться, — отвечает Машрум, взмахивая кулаком.

Эрмин слушает рассеянно. Его мало-помалу увлекает шахматная партия.

— Этот де Вриндт не вызовет большого скандала? — с интересом спрашивает лейтенант Машрум.

— О! — ухмыляется мистер Робинсон. — Скандал? Шум поднимется нешуточный. Земля вновь вздрогнет, но не против нас. По долгу службы мы выслушаем, что эти господа нам представят. Однако споры о подведомственности еврейского меньшинства в стране мы решать не можем, это же ясно. Мы — мандатарная власть, от нас требуется справедливость. Извольте, господа, она к вашим услугам. Только прежде чем ставить условия, вы должны доказать, кто из вас имеет на это право.

— Неплохо для Англии, — говорит лейтенант Машрум, промочив горло, — неплохо для моих арабов. Послушаем, что скажет Израиль!

Л. Б. Эрмин обеспокоенно переводит взгляд с одного на другого. Сегодня он выпил уже не одну порцию виски, глаза выдают, язык ворочается с некоторым трудом, но мысль устремляется далеко вперед.

— Ладно, — наконец произносит он, — но хорошо ли для этой страны?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Мудрость старейшин

Внешне арабский дом редко позволяет судить, каков он изнутри, насколько просторен, как богато обставлен, — во всяком случае, в Палестине и в Сирии. Господа, которым принадлежат целые районы Иерусалима, неприметно живут среди старых садов, которые скорее угадываешь за стенами, нежели видишь. И шейхи, приобретающие драгоценные ковры, эти вожди кочевых скотоводческих племен, выглядят так, будто у них и пяти фунтов стерлингов не наберется, — сухопарые, в черных или коричневых абах, в белых рубашках, на голове куфия из искусственного шелка, как и у всех их людей, — но в конце концов они достают из карманов этой самой абы или из широкого пояса толстые пачки банкнот, разумеется оплачивая лишь достойный товар. Немногочисленные могущественные семейства владеют землей Палестины. Их арендаторы, вздыхая, терпят нужду. Их день, рабочий день феллаха и его семьи, продолжается четыр-

надцать-шестнадцать часов, и тем не менее каждые несколько лет правительство вынуждено прощать им недоимки по налогам. Эфенди же налогов не платят; как состояния, так и доходы в Палестине налогами не облагаются, только труд, импорт и экспорт, продажа на рынках.

Мальчик Сауд вообще-то не более любопытен, чем все мальчишки его возраста. Но сегодня он, словно тощий кот, крадется по сумрачным коридорам отчего дома, чтобы подслушать разговор мужчин. Сквозь складки ковров он чувствует крепкий табак наргиле, чьих звуков, правда, не слышит. А там, где не слышен напев наргиле, их мелодичный хрип, не разберешь и слов тех, кто их курит. Ему позволили разжечь курительные приборы; учтиво, с улыбкой он перешел от одного к другому, с плоской древесных углей и маленькими щипцами в руках. Потом его отослали. У отца важные посетители: распорядитель пожертвований соборных мечетей, близкий друг верховного духовного судьи Иерусалима, самого муфтия; он покинул свой дом на Храмовой площади, чтобы навестить отца. Дядюшка Хусейн тоже здесь, а еще старый шейх из окрестностей Хеврона и еще более старый из окрестностей Луда. Кроме того, присутствует и его брат Мансур, который явно и наябедничал отцу насчет его друга. Но мальчик Сауд — когда одет в пятничную одежду, он зовется Сауд

ибн Абдаллах эль-Джеллаби — пренебрежительно щелкает пальцами. Брат Мансур — глупец. Невдомек ему, что отцы любят младших сыновей больше, чем старших, и что отец предпочтет поверить невинным глазам младшего сына, нежели подлым наговорам первенца, вдобавок учителя. К счастью, отцы напрочь забыли свое детство, когда их мальчишечьим царством были улицы, укромные закоулки, узкие темные проходы, лабиринты дворов Эль-Кудс-эль-Шерифа, или Урсалима, как арабы называют Святой город, торжественно либо, наоборот, попросту. А что отцам можно представить лишь видимость правды, а не саму правду, то такова воля Аллаха — если послушать бабушкины рассказы о проказах тех, кто нынче ходит с бородой, черной или седой, и украшает собой Диван совета. Ведь родителей должно радовать, а в делах, которые по-настоящему занимают мальчишку, они все равно не разбираются. Стало быть, если отец спросит, он с детским удивлением признает, что ходит к Отцу Книг изучать минувшие времена, узнавать о великих деяниях калифов в заморских державах и расскажет ему про Идриси и Ибн-Баттуту*, которые объездили весь мир, добрались до далеких краев, где собак запрягают в сани и где теперь хозяйнича-

* Идриси (1100–1165/66) — арабский географ; Ибн-Баттута (1304–1377) — арабский путешественник.

ют русские москвиты. Дурак ты, Мансур! Учителю вообще надо быть поумнее, чтобы вывести на чистую воду мальчишку, особенно родного брата. Сауд снова щелкает пальцами и тихонько бежит в сад — ловить крупных, отливающих синевой ящериц, шныряющих вверх-вниз по стене. Сейчас утро, утро понедельника, уже очень жарко. Вторник — счастливый день евреев. Его друг, Отец Книг, завтра ждет его в своей квартире, и он, разумеется, придет к нему в условленный час.

Булькают наргиле. Чашечки с черным кофе опустели, стоят на низком круглом столике; молчаливые мужчины в небольших белых тюрбанах — все они уже совершили паломничество в Мекку, еще в ту пору, когда оно не было удобной поездкой на поезде, — сидят, поджав под себя ноги; обувь стоит перед ними на полу. Комната, с витражными окнами в сад и благородными коврами в витых узорах лучших персидских мастеров, показалась бы этим господам сумрачной, если бы они не сидели здесь уже несколько часов, вполголоса беседуя.

Правительство известило их о проекте, который готовят на четверг рабби Цадок Зелигман и профессор де Вриндт. Все собравшиеся знают хитросплетения политики на Ближнем Востоке. Они многое повидали. В молодости жили

под кровавым султаном Абдул-Хамидом*, в зрелости — под мечом Джемаль-паши**; видели, как генерал Алленби*** во главе весьма внушительных войск вступил в страну; вели переговоры с сэром Гербертом Сэмюэлом****, с лордом Плумером*****, с нынешним вице-королем, или Верховным комиссаром; с лидером сионистов, умным, как змей, профессором Вейцманом, обменивались учтивыми приветствиями; понимали разногласия между сионистами, между группировками, борющимися за власть в этом движении, как понимали и разногласия между евреями разных направлений. Их униженные перстнями руки держат рукав наргиле, тот или другой курит египетскую сигарету, лица у них в морщинах, иссушены солнцем, серые и темные глаза смотрят из-под бровей и ресниц сдержанно, осторожно, порой очень строго, порой непримиримо. За минувшие часы они говорили о многом, полуфразами и намеками; то, что вол-

* Абдул-Хамид II (1842–1918) — турецкий султан.

** Джемаль-паша Ахмед (1872–1922) — турецкий военный и политический деятель.

*** Алленби Эдмунд Генри Хинмен (1861–1936) — английский военный деятель, фельдмаршал.

**** Сэмюэл Герберт Луис (1870–1963) — английский государственный деятель.

***** Плумер Герберт Чарльз Онсло (1857–1932) — английский государственный деятель; Верховный комиссар Палестины в 1925–1928 гг.

нует их сегодня по-настоящему, они вплели в беседу, сопровождая жестами, которые говорят едва ли не больше, чем слова.

Молодой учитель Мансур ибн Абдаллах все это время стоит, прислонясь к шелковому ковру, висящему на стене за спиной отца, скромно стоит по левую руку от него и вновь пылко восхищается своими соплеменниками, истинными хозяевами этой страны.

— Нас спросят, желаем ли мы появиться у Верховного комиссара одновременно с евреями. Если я правильно вас понял, мне нужно вежливо поблагодарить власти и отказаться. — Это сказал дядя Мансура, брат хозяина дома, один из лидеров арабской политики.

Собравшиеся молча кивают.

— Хорошо бы добавить, — берет слово хозяин, — что мы предпочли бы появиться через несколько дней. Пусть прежде отзвучит просьба этих людей, вот тогда мы и выразим искренние мирные желания арабского народа, а также изложим наши условия сотрудничества с этими евреями-несионистами.

При словах «мирные желания» рука Мансура взлетает вверх, он просит, чтобы его выслушали.

Отец смотрит на распорядителя пожертвований, друга муфтия, на обоих бедуинских шейхов, того, что с юга, и старейшину из Луда, взглядом дает разрешение. Ныне молодые мужчины —

носители идеи арабского единства, они руководят собраниями, пишут в газетах, можно разок дать им слово.

Мансур очень старается держать себя в руках, но не слишком успешно. Ему и его друзьям подчеркивание арабского миролюбия мало-помалу надоедает. Арабский народ, колосс, возлежит на континенте, голова его у границы Латакии, ноги в Омане и Йемене, руки распростерты за пределы Багдада и Триполи, Марокко, по всей Африке. Здесь, в Эль-Кудсе, бьется его сердце. Шевельнувшись, он сбросит в море всех этих евреев, этих русских, немцев, поляков, которые норовят превратить здешнюю землю в муравейник и, сколь это ни смехотворно, считают себя настоящими ее хозяевами, вернувшись на родину. Надо им разъяснить, им и англичанам, кто владеет этой землей с той поры, как она завоевана калифами и великими сарацинами. До английской администрации следует донести не мирные пожелания арабского народа, а нетерпение исполина, чья выдержка на исходе. Как известно, у евреев есть оружие; пора наконец вынудить его заговорить и тогда показать, кто сильнее, кто лучше вооружен и опытнее в бою. Его партия, партия молодых мужчин, благодарна за доброжелательность, с какой к ним относятся присутствующие здесь вожди и почтенный глава мечетей; они готовы устремиться в схватку или

же и впредь сдерживать нетерпение молодежи, но правительство обязано поручиться, что влияние сионистов пойдет на убыль, иммиграция новых чужаков прекратится, а права арабского народа Палестины будут без ограничений признаны конституцией. Пора покончить со смехотворной и устаревшей Декларацией Бальфура! К нескольким сотням евреев рабби Зелигмана можно обратиться со словами терпимости, но прежде надо разъяснить правительству, в сколь большой мере спокойствие в стране зависит от них, арабских лидеров, и на каких условиях они готовы и впредь его гарантировать.

Не поймешь, благожелательно ли, равнодушно или неодобрительно внимают эти господа сдержанному пылу Мансура. Смотрят они на него задумчиво; финансист муфтия повернул свое чеканное лицо к хозяину дома, бедуинские шейхи медленно перебирают бусины янтарных четок.

— Кто из вас, господа, был со мной, когда мы говорили сходные слова лорду Плумеру, только что приехавшему сюда? — в конце концов спрашивает финансист.

Никто не отвечает, но Мансур краснеет и бледнеет. Он достаточно хорошо знает историю последних лет: это отказ. Причем резкий, коль скоро этот лидер намекает на опыт, о котором господа вспоминать не любят.

Тогдашние события развивались так: на первой встрече представители арабов сообщили новому Комиссару Лиги Наций и английского правительства, на каких условиях они могут поручиться за сохранение спокойствия в стране, где только-только улеглись короткие бурные стычки 1921 и 1922 годов. И увидели, как круглое лицо лорда Плумера налилось кровью, голубые глаза широко раскрылись и он четко и ясно спросил, ответственны ли они вообще за спокойствие в стране. За спокойствие в стране в ответе он один. И сумеет его обеспечить. Да, на это мало что можно было возразить. Им противостояла воля белого человека, и в стране немедленно началось энергичное строительство дорог, во все концы, а как важны дороги, в войну уразумели все, и спокойствие в стране сохранялось, пока старый фельдмаршал рассказывал там в своем тропическом шлеме.

— С тех пор в стране многое изменилось, — обороняется Мансур. — Фотографии Купола Скалы подействовали.

— Нехорошо угрожать, если не намерен наносить удар, — предостерегает шейх с юга.

— Феллахи очень недовольны, — замечает Мансуров дядя. — Надо подсказать им, что покупка земли сионистами и их притязания на правительственные земли ухудшают наши виды на будущее.

Распорядитель пожертвований хмурит брови: муфтий не желает беспорядков. В итоге они всегда оборачиваются против зачинщиков.

— Менять в стране, — говорит Мансуров отец, — следует уже немногое, причем предпринимать только то, что на пользу нам. Рабочие в городах выдвинут требования, когда увидят, что трудящиеся евреи зарабатывают больше, чем они. Конечно, в первую очередь надлежит призвать к ответу правительство, подающее наихудший пример. Вы посмотрите, как высоко оплачиваются за счет страны английские чиновники, а наши сыны, несущие все бремя работы, получают шесть-семь фунтов в месяц.

Престарелый шейх из Луда улыбается. Для крестьян на селе пять или шесть фунтов в месяц — сумма очень большая. В его краях арабы живут в поселках и деревнях в добрососедстве с евреями; непонятно, почему нужно все это непременно ломать.

В конце концов близкий друг муфтия, прикрыв рукой глаза, замечает, что декларация этих еврейских противников сионистов, несомненно, вызовет огромное раздражение в еврейских массах. Спор о молениях у Стены Плача, умно и успешно поддерживаемый вот уже девять месяцев, хорошо сделал свое дело, и управление мечетей на Храмовой площади сумело продавить все права и вполне насладились бессилием сво-

их врагов. Безрассудные, радикалы, бывшие легионеры, молодежь и их лидеры наверняка планируют ответный удар, надо надеяться, самыми кардинальными способами, угрозами, организуют митинги, а может быть, снова демонстрации. Если они начнут такие общественные манифестации против доктора де Вриндта и арабского народа, то справедливое недовольство большинства в стране тоже может громко заявить о себе. И пожалуй, тогда молодежь — взгляд на Мансура — не обуздать; пожалуй, в подходящих местах появятся эмиссары, призывающие к спасению святынь; пожалуй, там, где особенно много рьяных поборников арабского дела, возникнут стихийные сборища — взгляд на умного хевронского шейха. Тогда симпатизирующая арабам часть администрации, заручившись одобрением двух-трех достаточно дальновидных политиков из лондонских ведомств, может намекнуть, из-за чего снова и снова вспыхивают беспорядки от гор Ливана до пустыни Эль-Ариш — из-за массы русских и сионистов в стране; а значит, соответствующие меры правительства, согласованные с представителями арабского народа, будут оправданны, даже неизбежны. Враги Аллаха, неверные, издревле вредили сами себе, такова была воля Аллаха. Вот почему он предлагает уведомить правительство, что арабская знать в любое время готова к справедливой и добро-

соседской жизни с богобоязненными евреями, подробности же можно уточнить на устных переговорах. Этого будет достаточно.

Седовласые мужи здесь, в этом просторном помещении, молча обдумывали мудрость произнесенных слов. Надо позволить врагам и захватчикам выставить самих себя несправедливыми. Раввин и профессор — орудия воли Аллаха.

Молодой человек в тарбуше, Мансур, сжал за спиной кулаки, прижав костяшки пальцев к шелковому ковру, вонзив ногти в ладони. Этот доктор де Вриндт, осквернивший честь его дома и соблазнивший легкомысленного шалопада, его младшего брата, должен, стало быть, еще пожить — пока все не придет в движение, но ни днем больше, чем нужно. Он известит соратников о своем намерении. Покушение откладывается — на десять дней, на две недели, на месяц, возможно, на еще более долгий срок. До тех пор ему придется самому охранять мальчишку, а прежде, пожалуй, поговорить с отцом. Конечно, нелегко будет переубедить отца наперекор отпирательствам лицемерного маленького шакала. Но что любая связь между домом Джеллаби и этим рыжебородым неверным псом вредна, даже позорна и должна прекратиться, этого он от отца добьется, если будет действовать с осторожностью.

Господа встали, надели свои плоские туфли, приложили ладони ко лбу, попрощались.

Взрослый, страстно любящий ребенка, ищет в нем себя самого. Когда-нибудь и где-нибудь должно смыть с души следы формирующих сил, стряхнуть возникшие с годами уродства — как и мерзкие желваки, пучки волос, бесформенные выросты, которыми обзавелось тело. Пусть снова явится маленькое, грациозное и гладкое, подвижное и невинное, шаловливое, насмешливое, еще не запятнанное жизнью — юный человек.

В темной комнате руки мужчины обнимают мальчишечье тело, это уже не веснушчатые, волосатые руки взрослого, с широкими ногтями и глубокими линиями на ладони, а его визави и предмет страсти уже не чужой мальчик: диковинным образом здесь замкнулся круг, «я» вернулось к своему «я», ненавистный поток жизни в конце концов повернул вспять, и теперь он как бы обнимает свой исток, прижимает мощную голову потока к его, к собственным коленям. Масштаб потрясений колоссален. Законы природы упразднить не так-то легко, а еще меньше в этом любовном единении от игры, наслаждения и шаловливости. Гонимый человек обнимает мальчика, и мальчик в темно-коричневом сумраке комнаты дарит ему избавление, спасение от страха, дарит благодаря преданности, благодаря любви. Ведь он, ничего не понимающий, проживший еще так мало, чувствует дрожь страха, бремя страха, которое гнетет любящего. Этот страх

не имеет ничего общего с днем нынешним и вчерашним, он был всегда, стучащий зубами спутник неодолимой силы, которая толкает к нему этого мужчину, барьер, противостоящий взрыву, сдавленное дыхание перед хрипом, тягостная пауза перед избавительным стоном.

Человек, подпавший под власть этой силы, всякий раз, сам того не ведая, проходит сквозь тень смерти, всякий раз, преступив грань человеческой жизни, оказывается в мареве разрушения. И когда угаснет в этом разрушении, когда лишь осторожность, опасение выдать себя не дает крику, смертному крику вырваться наружу, тогда он счастлив, освобожден, воодушевлен, вновь соединен с праматерью, со смертью. Ибо этого избавления он, заблудший, ищет всю свою жизнь, вслепую, без подсказки наития. Его неодолимо тянет отбросить кривобокое «я», отделаться от фальшивого и случайного воплощения, освободить свои атомы для новых воплощений под более счастливой звездой, в более удачный час. Ведь сбрасывание одежды — всего лишь аллегория сбрасывания тела, а сбрасывание тела — всего лишь форма сбрасывания «я», в ходе становления которого началось раздвоение, отделение этой малой, сияющей частицы духовной субстанции от праматери, от Бога.

Вот такая любовь подгоняла и сотрясала мужчину де Вриндта. Она ускользала от его бодр-

Книга первая. Ученый в одиночестве

ствующего понимания, но толкала его перед собой, и кое-что он смутно чуял, когда, покинутый своим мальчиком, сидел на стуле, свесив руки меж коленей, и смотрел перед собой, охваченный ужасом, словно пронизанный отсветами молний. Тогда он брал карандаш и листок бумаги и стоя или за столом записывал новые стихи, четверостишия или длинные строфы, выражая все то, что в нем происходило, — всегда на языке своей матери, которая говорила с ним по-голландски в низеньком домике в Харлеме, городе тюльпанов.

КНИГА ВТОРАЯ
ВЫСТРЕЛЫ В ИЕРУСАЛИМЕ

Зачем, Господь, смоковницу Ты искривил?
Ведь смоква слишком рано созревает.
Зачем меня в одежды эти обрядил?
И поздний жар зачем во мне пылает?
Из четверостиший де Вриндта

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВЕРСТКА

Во всех типографиях на свете неизменно пахнет керосином, типографской краской, влажной бумагой и железом станков. В наборном цеху людей и по ночам гнетет жара, повсюду электрические лампочки без матовых плафонов и без зеленых абажуров, и повсюду в часы перед печатью стоят черные металлические наборные доски, готовые к тому завершающему процессу, который называется «верстка». Собранные из муравьишек-букв, отлитых по отдельности или целыми строками, здесь ждут в зеркальном отображении статьи, новости, объявления, выстроенные в ряд на длинных столах, чтобы опытные

наборщики, как мозаику, соединили их согласно указаниям технического редактора в точно заполненные полосы. В экстренных случаях в цеху «на минутку» появляется и могучий главный редактор, чтобы завтра утром при чтении корректуры быть застрахованным от сюрпризов. Газета выходит во второй половине дня, называется она «Вечер» — на иврите «Га-Эрев».

В наборном цехе газеты «Га-Эрев» все спокойно. Два опытных наборщика и метранпаж типографии ужинают, меж тем как техред, молодой товарищ Мандельштам, с хмурой миной правит корректуру. Передовая статья оказалась слишком длинной, важные новости из Европы отняли у нее место, придется сокращать. Ручной пресс выдает влажный оттиск; еврейские буквы, хорошо покрашенные, по-прежнему напоминают о страницах молитвенника. Сокращения — печальная обязанность для автора, ведь статью написал сам товарищ Мандельштам. И старался быть предельно лаконичным, а теперь придется сократить еще пятнадцать строк. Пятнадцать строк — как их выгадать? Передовица называется «Баллада о деревьях». Йегошуа Мандельштам из Цинциннати, США, на самом деле лирик, «Балладу о деревьях» он сочинил по-английски, но читателям в этом, конечно, не признаётся. В статье он, в общем-то, пересказывает содержание сво-

ей баллады, каким в свое время услышал его от доктора Ауфрихта, секретаря «Керен га-Йесод», Фонда заселения Палестины.

Mr. Baker came from Kenya-Land,
He loved the men and the trees,
He came in spring to Palestine
All over deserts and seas*.

Так начиналась «Баллада о деревьях». Далее решительно, без долгих предисловий следовала сама история. Этот Бейкер учредил в кенийской колонии «Общество людей-деревьев», «men of the trees». Лесничим мистер Бейкер не был, к деревьям его привело религиозное чувство. Он любил огромные, безмолвные, шелестящие растения, то благородно вытянувшиеся высоко вверх, то искривленные в борьбе с неблагоприятными условиями, темно-зеленые хвойные и ярко-зеленые ореховые деревья, эксцентричные смоковницы, стройные пальмы. Больше всего он любил лиственные деревья; при виде их морщинистых стволов, могучих крон, округлых, густых, с множеством сучьев, он мог замереть в молчаливом восторге, соединяя свою душу с душой дерева и участвуя в пронизанном

* Из Кении мистер Бейкер, / Людей и деревья любил, / Весной в Палестину приехал / Из-за морей и пустынь (англ.).

соками бытия растения. И «Общество людей-деревьев» ставило перед собой задачу распространять такие чувства, такое вчувствование в деревья, пробуждать их прежде всего в детях; из живого чувства сама собой рождалась потребность ухаживать за растениями, разводить их, умножать их число. Мистер Бейкер поехал в Палестину с рекомендательным письмом доктору Л. Г. Ауфрихту, присланным из Лондона, и в итоге явился к нему в контору, преисполненный намерения учредить «Общество людей-деревьев» и в Святой земле, где, как ему сказали, есть в этом потребность. И вот он, неуклюжий, костлявый, седой насаждатель, сидел напротив высокого чернявого доктора Ауфрихта, уроженца Праги, и рассказывал о трудностях своего предприятия: он, мол, никаких иллюзий не питает, наоборот, прекрасно понимает, в чем заключается самый слабый пункт. Самый слабый пункт здесь, в Палестине, — это евреи. Арабы — пастиший народ, крестьянский, верно? Им легко внушить чуткость к деревьям и любовь к ним. Евреи же, понимаете, доктор, вот уж почти две тысячи лет живут в городах, от горожан такого не потребуешь, и винить их тем более невозможно. Без трудностей не обойтись, согласны? Австриец доктор Лео Герман Ауфрихт, человек по натуре умный, образованный, ценитель мелких, завуалированных шуток, внимательно слу-

шал, благодарный случаю, который пришел ему на помощь, и готовый немедленно им воспользоваться. Мистеру Бейкеру он ответил, что понимает его сомнения, но если тот завтра в это же время зайдет за ним сюда, в контору, то он надеется показать ему кое-что обнадеживающее. Дело было в конце февраля, ранней весной, накануне пятнадцатого числа месяца шват, которое именуется «Новым годом деревьев», так как в этот день вновь начинается движение соков в стволах. Доктор Ауфрихт сел вместе с мистером Бейкером в автомобиль; голубое небо парило над холмами. На удивление много народу стремилось той же дорогой на окраину Иерусалима; прошли благодатные дожди, анемоны уже атели среди зеленой травы и ярких пятен нарциссов. На просторном участке во множестве были приготовлены ямки, и, прежде чем мистер Бейкер успел задать вопрос, слышались музыка барабанов и труб и пение звонких голосов: школьные классы один за другим подходили с зелеными ветвями и венками — мальчики и девочки, малыши и подростки, с учителями и учительницами, а также толпы родителей. Пятнадцатого швата школьники обычно высаживают деревья, приобретенные на средства, которые Национальный фонд* целый год собирал сре-

* Еврейский национальный фонд («Керен каемет ле-Исраэль») — некоммерческая корпорация, принад-

ди евреев по всему миру, при этом поют песни и произносят речи — самый веселый праздник для молодежи, которой тоже надо пустить корни и вырасти крепким деревом. Этот праздник известен всем палестинцам, но мистер Бейкер, понятно, слыхом о нем не слыхал, и глаза у него стали прямо как блюдца, когда ему объяснили, что здесь происходит и что это дети еврейских горожан, чье отношение к природе вызывало у него опасения. И он возликовал — сияющий, смеющийся мужчина в открытом автомобиле, он выскочил из машины, хотел быть повсюду, наглядеться не мог на происходящее вокруг, а наутро во время серьезного совещания был готов в результате увиденного действовать сообща с Национальным фондом.

Вот о чем шла речь в передовице молодого Йегошуа Мандельштама. Он сделал хвалебные выводы и даже вновь добился актуальности, а именно ответив на нападки, с которыми симпатизирующие арабам английские газеты на минувшей неделе вновь обрушились на упомянутый фонд из-за его земельной политики. Последний абзац содержал опровержение этих нападок — так где же вычеркнуть пятнадцать строк?

Наборщики доели свой хлеб, оливки, сыр, осушили большие бутылки с лимонадом и сей-лежащая Всемирной сионистской организации; основан на Пятом сионистском конгрессе (Базель, 1901).

час направлялись к злополучному автору вполне удачной статьи: верстка должна продолжиться... В печатном цеху распахнулась и опять захлопнулась дверь; кто-то спешил по коридору, стеклянная дверь наборной лязгнула замком — в шляпе, с сигаретой в пальцах ворвался главный редактор, доктор Гликсон, энергичный мужчина средних лет, заработавший «журналистские шпоры» как корреспондент одной из либеральных русских газет на процессе Бейлиса* в 1905 году, язвительно издеваясь над рассказами про ритуальные убийства, которые еще и сейчас охотно принимают на веру. Много воды утекло с тех пор в Иордане, доктор Гликсон давным-давно писал только на иврите.

— Что вы вынесли в шапку? — спросил он.

— Эйнштейна, — ответил Мандельштам. Он с удивлением воззрился на шефа. Что-то случилось. Глаза Гликсона по-прежнему неподвижно

* Менахем-Мендель Бейлис (1874–1934) — приказчик кирпичного завода в Киеве, арестованный в 1911 г. (автор ошибается в датировке процесса, который состоялся в 1913 г.) по сфабрикованному обвинению в ритуальном убийстве православного мальчика. Вокруг процесса Бейлиса была раздута антисемитская кампания; прогрессивная интеллигенция выступила в защиту обвиняемого: А. А. Блок, В. И. Вернадский, А. Франс и другие, и в 1913 г. Бейлис был оправдан и уехал в Палестину.

смотрели из-под очков, в которых играли черно-желтые отблески ламп.

— Уберите Эйнштейна, — сказал он техреду. — А что у нас в коробке?

Коробкой у газетчиков называется центральная часть полосы, окантованная черной рамкой, где жирным шрифтом или иным выделением печатается самое важное сообщение.

— «Результаты “Керен каемет” в минувшем году», — без труда прочитал техред зеркальный текст.

— Убрать. Отставить. — Тем самым он отложил публикацию сообщения. — А в качестве передовицы «Баллада о деревьях»? — Он нагнулся над столом с мандельштамовской корректурой. (В случае надобности опытный редактор тоже бегло читает перевернутые буквы.) — Снять, — приказал он.

Мандельштам покраснел. «Снять» означало, что набор будет рассыпан и переплавлен, так как статья не имеет шансов на опубликование.

— Снять? — спросил он.

— Ближайшие шесть месяцев, — резко сказал доктор Гликсон, но резкость его была адресована не молодому коллеге, а как бы окружающему миру, — никто в стране интересоваться идиллией не будет. Кое-что случилось, диктую прямо в набор. — И в треск клавиатуры линотипа, не снимая шляпы и наброшенного пыльника: —

Шапка: «Доктор де Вриндт предаёт еврейский народ». Ниже: «Агудисты наносят нам коварный удар, запятая, объединяются с арабской верхушкой, запятая, отбрасывают наше дело на годы вспять, точка. Полужирным: В дальнейшем мы опубликуем текст меморандума, запятая, который подготовили двое лидеров “Агудат Исраэль”, запятая, широко известные рабби Цадок Зелигман и доктор И, точка, дефис, Й, точка, дефис, де Вриндт, запятая, и вручили сегодня в резиденции губернатора, точка. Меморандум говорит сам за себя, точка. Доктор де Вриндт не отрицает своего авторства, точка. Таким образом, он сам вынес себе приговор, точка. Отныне он вычеркнут из рядов еврейского народа, точка...» Это будет новая передовая статья. Дальше, Маймон.

Наборщик Маймон, тощий, скуластый, «за рубежом» страдал туберкулезом. Он дрожал от гнева, пальцы яростно стучали по клавишам, длинные рычаги станка умножали его удары. Бледный Йегошуа Мандельштам сидел рядом. Медленно сложил «Балладу о деревьях», сунул в нагрудный карман.

Метранпаж Уриэль, положив на колено скатый кулак, всем своим существом ждал продолжения диктовки, избавительного взрыва.

Невысокий молодой наборщик Ниммис не сводил глаз с шефа, увлеченно слушая передо-

Арнольд Цвейг. Возвращение в Дамаск

вую статью, которой еще не слышал ни один человек.

Но все они знали эту статью; каждый из них мог бы написать ее своей кровью, своей возмущенной душой.

— Заголовок: «Вечный предатель», — сдержанным голосом начал доктор Гликсон.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Неприятности

Голландский консул велел толстому кавасу* в синем кафтане и красном тарбуше налить ему из глиняного кувшина четвертый стакан холодной воды и достал из письменного стола новую сигару. Потом распорядился:

— Пригласи мистера Эрмина!

Полицейский, весь в белом, держал в руке тропический шлем, а под мышкой пачку газет; на лице его читалась озабоченность. Он не придавал значения непроницаемому виду и прочей ерунде, связанной с его профессией; умный человек достаточно непроницаем, обычно говорил он, и может спокойно позволить мгновению владеть своим лицом.

— Вы тоже успели прочесть эту чепуху? — спросил он после рукопожатия, кивнув на кучу газет, у голландца, менеера Тобиаса Рутберена, протестанта-методиста, который со всем вни-

* Кавас — охранник и курьер в дипломатическом представительстве на Ближнем Востоке.

манием старался постичь знаки времени, ибо репатриация евреев в Святую землю явно что-то означала.

— Я не читаю на иврите, — ответил тот. — Первые нападки на господина де Вриндта появились третьего дня, и с тех пор мне кое-что перевели.

— Мне тоже, — сказал Эрмин, — для определенных членов правительства, которые гордятся, что не владеют этим языком. Я стараюсь выяснить, кто проторил меморандуму де Вриндта путь в газеты.

— Он сам, — сухо ответил консул.

Эрмин испуганно прищелкнул языком.

— Сам? — повторил он. — Жаль! В случае разглашения тайны можно было бы в конце концов заявить от имени администрации, что текст неаутентичен, что все представлено в ложном свете, и безобидный вариант, напечатанный в правительственной газете, сотворил бы чудо.

— Я вызвал доктора де Вриндта к себе, — проворчал консул. — В конечном счете именно на мне лежит ответственность, чтобы с ним ничего не случилось.

— Ну что вы, — возразил Эрмин, — он взрослый человек; если он сам навлекает на себя неприятности — пожалуйста, свое дело мы уж как-нибудь сделаем. — В этот миг Эрмин ненавидел всех писателей, которым не терпится за-

пустить в мир свою ерундику. А последствия пусть улаживает Господь Бог!

— Н-да, — флегматично обронил консул, как обычно в ответ на такие замечания, — чувство реальности, оценка последствий собственных поступков никогда его не интересовали. — Он разложил газеты. К каждой из них скрепкой был приколот машинописный листок: кое-что подчеркнуто красным. — «Надо вернуться далеко в историю Средних веков, чтобы обнаружить подобных предателей. Но в ту пору это неизменно были отщепенцы, давным-давно отринувшие свой народ и свою веру. Доктор де Вриндт — первый пример тому, насколько упрямый клерикал хуже любого ренегата». «Мы не сочувствуем де Вриндту. Будут твердить, что он сошел с ума, — в психушку его! Отнесут этот случай к патологической психологии — туда же, в лечебницу! Но пока вы позволяете ему оставаться на свободе, никто за него не поручится». «Этот доктор де Вриндт поистине храбрец. В то время когда мы преодолеваем самый сложный участок нашего судьбоносного послевоенного пути, он коварно устраивает покушение на проводника, на наше легитимное представительство. И тем не менее по-прежнему находится среди нас, будто ничего не произошло. Сидит с газетой в кафе, будто гражданин этой страны, а не змея, которую надо раздавить. Какое доверие к нашему долготерпению, к зре-

лости еврейского народа и его молодежи! Хочется искренне надеяться, чтобы он не обманулся; руку на отсечение мы здесь не дадим». «Остается лишь еще один шаг, господин де Вриндт, и вы, без сомнения, его сделаете. Два ваших предшественника его совершали, например тот Шабтай-Цви, который сперва изображал мессию, а потом надел тюрбан и стал молиться Мухаммеду. Давайте, господин де Вриндт, не стесняйтесь! Подходите ближе. Ваши добрые отношения с арабскими королями нам хорошо известны. Еще один шаг, и муфтий обнимет вас и передаст в ваши надежные руки руководство антиеврейской пропагандой на всем Востоке. Надеюсь, он и ваша новая вера сумеют защитить вас и от последствий ваших деяний. Боюсь, мы не сумеем».

— Вот это называется подборка! — беззвучно смеясь, отозвался Эрмин на ворчливую декламацию.

Консул почесал за правым ухом. Это ведь только начало. Затем жди откликов из Англии, со всей Европы, из Южной Африки, а немногим позже хлынет густой поток из Америки. Отвратительное возбуждение, без конца и края.

— Что будем с ним делать?

— Он должен уехать из страны! — вскричал Эрмин. — Все равно ведь собирался, если не ошибаюсь. Через неделю-другую рассчитывал сесть на пароход.

— Через неделю-другую, — саркастически повторил консул, — до тех пор он натворит еще уйму глупостей.

Эрмин сказал, что не даст этому случиться. В ближайшее время будет держать этого господина под наблюдением. А через несколько недель страна успокоится, да и политически еще многое можно предотвратить. Хотя в первом возбуждении не исключены неосмотрительные акции.

Консул, с сигарой в углу рта, усомнился в столь безобидном развитии событий. Страна переполнена подстрекательством и злобой.

— Они уже не выпустят его из когтей. Вот здесь, — он взял другую газету, — они выгаскивают на свет все его прошлое. Сперва вольнодумец, потом сионист, теперь клерикал. Они называют это первыми звеньями в цепи его предательств.

Н-да, подумал Эрмин, хорошего мало. Но, с другой стороны, ни одна арабская рука теперь на него не поднимется. Старики Джеллаби позаботятся об этом. Надо только шепнуть им, что один из их молодых парней имеет на него зуб. Все-таки придется мне вскоре встретиться с маленьким паршивцем или поручить Иванову намекнуть на это его папаше. От евреев можно кой-чего ожидать, но не убийства же. Конечно, они могут задать ему жару. Устроят бойкот —

и он не найдет ни достойного жилья, ни еды и на людях нигде появиться не сможет. А сумеют ли его, Эрмина, агенты обеспечить ему защиту — большой вопрос. (Жаль, надо было в воскресенье быть повнимательнее, когда Робинсон намекнул на эту историю.) Тогда ему придется спрятаться у своего раввина или где-нибудь в деревне у ортодоксов, но вдруг рабочий профсоюз объявит им бойкот? Транспортники — большая сила и знают об этом.

Размышляя, Эрмин рассеянно смотрел на дверь. И не удивился, когда на пороге, словно притянутый сюда его мыслями, появился доктор де Вриндт, такой же, как всегда, только спина и плечи слегка перепачканы пылью.

— Камни, — сказал он, — извините. Нельзя ли попросить щетку?

Значит, уже началось, подумал голландский консул и позвонил.

— Отдайте пиджак Юсуфу. В этом окаянном месяце довольно жарко. Позвольте предложить вам сигару?

Веснушчатая рука де Вриндта слегка дрожала, когда он обрезал красивую, длинную сигару, затем он поздоровался с обоими мужчинами, сел в плетеное кресло, немного попыхтел сигарой и рассмеялся. Глаза смотрели бесстрастно. Когда он заметил груды газет, уголки губ презрительно дрогнули, выпустив струю дыма.

— Вы знаете, нервы в такую жару... все это просто нервы. На самом деле ничего особенного не произошло.

— Что же вы намерены предпринять? — спросил консул. — Я попросил вас прийти, потому что хочу знать ваши планы. Так или иначе, я тоже в ответе за вас перед общественностью. На дворе двадцать девятый год, и находимся мы не в глуши Персии или Маньчжурии. Иерусалимом интересуется весь мир. Стало быть, с вами ничего не должно случиться, доктор де Вриндт.

— Ах, — рассмеялся де Вриндт, — случиться! Я привык к их ненависти. Это чуть ли не награда. Странно только, что и шофер отказался меня возить. Добрый Эзра боится своих коллег — вдруг перережут провода аккумуляторов, проткнут шины или учинят какую-нибудь пакость с мотором. Придется мне продолжать опрос в Твении и Цфате с шофером-арабом.

— Ваше отсутствие в Иерусалиме в ближайшие дни мне весьма на руку, — с облегчением сказал консул.

— Только никаких шоферов-арабов, — серьезно добавил Эрмин, — вы подольете масла в огонь, де Вриндт. Вы действительно просмотрели газеты?

— Если бы эти люди умели писать, — презрительно бросил писатель. — Думаю, ни один из них не дочитал мой меморандум до конца.

Они взялись за диктовку после первых же десяти строк. Газеты, — сказал он, — печатная бумага. Мы не доставим этим людям удовольствия, переоценивая их. В конце концов, мы живем сегодня и среди евреев.

— После войны, — вставил консул, — которая смела все сдерживающие факторы. Я бы на вашем месте был весьма осторожен.

— Ах, — де Вриндт вдруг весело подмигнул, как мальчишка, — они будут мне угрожать, швырять камни и прогонят шофера, может, сядут в кофейне ко мне спиной — тем лучше. Лица современников для меня малопривлекательны, они так уродливы, так пошлы и бесцветны. Но вряд ли произойдет что-то посерьезнее... — он покачал головой, — ...они меня даже не побьют. С евреями я уж как-нибудь справлюсь. Дух против духа, знаете ли. Хотя у иных он не слишком развит. — Он громко рассмеялся.

Теперь Эрмин снова любил этого человека. Писатели все ж таки сущие дети, подумал он. Всерьез на их писанину обижаться невозможно. Несколькими энергичными комментариями вроде «даже не помышляли о том, чтобы затрагивать права сионистской организации» можно многого достичь. По дороге, в машине, или за завтраком уговорю его написать такое опровержение. И официальное телеграфное агентство должным образом его распространит. Кроме

того, попрошу малыша Машрума невзначай вывести в город кавалерию, чтобы горячие головы заметили, что мы пока тоже здесь.

— В Тверию и Цфат? — сказал он. — Отлично! Шофер-араб вам не нужен. Я возьму трехдневный отпуск и навещу коллег в Северной Галилее. Обмен опытом, знаете ли, поддержание контактов. Не забудьте купальный костюм и альпеншток, де Вриндт. Мы хорошенько полазаем по горам. Конечно, при условии, что это не будет в ущерб вашему опросу. Кстати, как ваша поездка в Европу?

— Как только соберу достаточно материала, — ответил де Вриндт. — Несколько подготовительных писем в Вену, в Лемберг, в Черновиц* уже отправлены, во Франкфурт и Антверпен напишу сегодня. Вы знаете, что все русское еврейство отпадает, — он покачал головой, — это ведь ужасно.

Голландский консул Тобиас Рутберен удивился. Этот человек тревожился о русских евреях, меж тем как Юсуф с достоинством принес его пиджак, отчищенный от следов весьма палестинских камней.

* Лемберг — ныне Львов, Черновиц — Черновцы (Украина).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Рано утром, едва лишь солнце с горы Нево заливает алым светом стены и башни Иерусалима и призыв к молитве отражается от них словно долгий световой блик, бежевый автомобиль с эмблемой администрации покидает город. Поначалу шофер шурится от слепящего света, но вскоре на помощь приходит дорога, лентой бегущая на север через Иудею, Самарию, Нижнюю Галилею. Молочно-серые, с глубокими тенями, лиловыми и розовыми вершинами сопровождают их справа и слева пугающие каменные лабиринты Иудеи. Машина без труда поднимается в гору, мягко скатывается вниз по склонам, зигзагом перебирается через холмы. Во впадинах, в низинах уже трудятся арабские крестьяне; меж Иерусалимом и Изрезльской долиной еврейской земли почти нет. Оливы карабкаются по склонам гор, от природы серые, а сейчас белые от пыли; слева наверху приветствует Мицпа с увенчанной башенкой гробницей про-

рока Самуила. Земля раскидывается в ужасающей бесприютности, сплошь из камня. Со всех склонов и возвышений дожди последних полутора тысячелетий смыли плодородную корочку, ветер и солнце отшлифовали, скруглили формы гор; лишь в течение последних десяти лет новые государственные посадки заложили лес, рощицы робких деревьев, защищенные от пасущихся коз проволочными оградами и запрещающими табличками. Но в утренней свежести дышится здесь несравненно легко; за Атаротом нагорье поднимается все новыми уступами, сглаженными поверху каменными желваками. Слева на западе угадываются Шаронская долина и море.

Двое путешественников за ветровым стеклом ведут оживленной беседу, хотя Эрмин ни на секунду не забывает о дороге и автомобиле.

Доктор де Вриндт рассуждает без умолку — никогда за все их многолетнее знакомство он не был таким непринужденным, таким общительным, остроумным, веселым. Радость путешествия захлестнула его как внезапный приступ. Никаких остановок — вперед, только вперед! Счастливый, он оглядывает местность, которую в утреннем свете видит словно впервые.

— Ну разве не чудесно? — вопрошает он. — Разве не восхитительно?

Да, чудесно, да, восхитительно, более того, исполнено двоякого величия — величия высо-

когорья и многообразия низинных краев. Свет прозрачно парит над склонами, скрадывает все расстояния. Воздух в здешнем краю невесомо танцует над закарстованными горами и славится своей хрустальной прозрачностью, а над ее причинами пусть ломают себе головы ученые. Эта полоса образует порог Азии перед Средиземным морем, еще западная и все-таки уже восточная, мост между южной державой, Египтом, и северной, Ашшур-Вавилоном, — земли ее запечатлелись в истории человечества не искусствами, не техникой, не наукой, не политической мощью, а только религией. Диковинная земля, куда сейчас хотят вернуться евреи, поначалу немногие, едва ли достойная упоминания часть четырнадцати или пятнадцати миллионов противоречивого человеческого племени, живущих ныне на земле! Римляне завоевали их царство, рассеяли евреев-военнопленных по своей империи, на смену римлянам пришли императоры Византии, затем калифы Мекки, султаны Каира и Дамаска, крестоносцы, норманны Гогенштауфены с Сицилии и снова властители-мусульмане. И всегда, во все времена, евреи думали об этой земле как о своей, как о даре Божиим, одновременно отстаивая право человека жить в любом месте на земле разумным трудом и полезной организацией. Примерно за двадцать лет до мировой войны австрийский писатель по фамилии

Герцль* (де Вриндт несколькими фразами насмехается над его романтической внешностью и слабым талантом) призвал их к возвращению, создав движение сионизма: «Настал час, Израиль! Народ без земли, спаси землю без народа». А притом здесь уже тогда проживали триста тысяч арабов, но, к счастью, он этого не знал.

Англичанин безмятежно слушает. Он чувствует себя хозяином путешествия и радуется, что его подопечному так хорошо. Этот человек у него в ловушке: из мягких подушек автомобиля не сбежишь. Погоди, дружок, ты у меня напишешь опровержение. Он поддразнивает спутника — его враждебностью к сионистам, расколом евреев вообще, в котором сам черт не разберется.

Доктор де Вриндт утверждает, что раскол этот ничуть не более странен, чем раскол всех европейцев на партии, национальности и социальные группы. Ни у одного народа оглядка на внешнюю ситуацию не мешает внутренним распрям; они сравнимы с обменом веществ любого живого организма, так же обстоит и с евреями. Консерваторы, или агудисты, и националисты, или сионисты, хоть и враждуют, но образуют общее ядро, сообщая с организаторами либералов во всех странах примиряют входящего в достаточно свободную общину семейного еврея и

* Герцль Теодор (1860–1904) — писатель и журналист, основатель движения сионизма.

полного отщепенца, а таким индивидам нет числа, и еврейское происхождение для них лишь причина страданий. Простая схема, не так ли? И непрерывно, каждый час, от этого внешнего и самого хрупкого слоя, от еврейства, навсегда откалываются толпы одиночек. Много хорошей молодежи перебежало к коммунистам, Америка тоже стала огромным плавильным котлом, а с недавних пор и Центральная Европа, особенно Германия.

— И вас это не пугает? — напирал Эрмин. — Не лишает уверенности?

Вода в радиаторе скоро закипит.

— Лишает уверенности? — рассмеялся де Вриндт. — Это всего-навсего лишний знак, что наша история и ее структурный принцип остались верны себе. «Остаток вернется», так гласит этот структурный принцип, а именно чтобы вновь возродиться, стать народом, как развивалась в народ семья патриархов, причем неоднократно, позвольте вам напомнить. Разве Моисей не дал поколению взрослых погибнуть в пустыне? Разве из вавилонского плена вернулись не считанные единицы, которые и взрастили новый народ? И не то же ли самое случилось с Хасмонеями, изшедшими из их горной крепости Модиины? Куда подевались легионы евреев Александрии? И все же мы снова здесь, пятнадцать миллионов, сильные как никогда, а враждеб-

ность, какой нас удостаивают, лишь доказывает, что наша история не закончилась и что сионисты опережают Бога и потому обречены на неудачу. Ведь если Бог снова вспомнит о нас, кто тогда поднимет против нас руку?

Автомобиль катит на север, солнце поднимается все выше. Скоро они остановятся в тени и распакуют корзины со снедью. Случай представился неподалеку от Наблуса, под старыми оливами. На земле не расположишься, слишком пыльно. Они сидели на камнях, закусывали. Какой-то человек гнал мимо навьюченных ослов, напевая жалобную песню феллахского жизнеощущения, и чувствовал себя при этом очень хорошо. Караван из шести верблюдов прошагал мимо, хрустя песком, в остальном беззвучно, головы верблюдов — горизонтально на изогнутых шеях, их полузакрытые глаза скользили невидящим взглядом по всему зримому, будто здесь ничего нет. Погонщики вскоре затянули песню, состоящую из ломаных, слишком высоких полутонов.

Потом рев мотора заглушил их возгласы; и караван, и погонщик ослов остались позади. По городу Наблусу, по его людным улицам, машина продвигалась, гудя клаксоном и рыча. Молодые люди в тарбушах расступались, дети, жены феллахов, с открытыми лицами, в черном, и горжанки в вуалях, гул разговоров, восклицания,

смех — многоголосый хор. Бедуины, медленно соображающие или уверенные в неотвратимости кismet, сиречь судьбы, едва не попадали под колеса, прежде чем освободить дорогу автомобилю. Улицы поднимались в гору, извивались; старый царский город Сихем-Самария был выстроен на горе, а вершины Эйвал и Гризим обнимали его, словно груди женщины — амулет. Здесь еще встречались самаритяне, примерно полторы сотни потомков давнего племени. В праздник Песах их первосвященник приносил на горе в жертву кровоточащего ягненка, как предписано Письменным учением, сиречь Торой. На этом учении они остановились, все более позднее отвергали. Поскольку евреи с ними не смешивались, они вымирали. И вообще были очень бедны.

— Но ведь они кровь от вашей крови, — заметил Эрмин, проезжая мимо оставшихся наверху руин Севастии; американские археологи как раз раскапывали царский город Ирода, с колоннадой пока что неизвестной протяженности.

Де Вриндт согласился.

— И они не делают различия между вами и сионистами? — продолжал расспрашивать Эрмин.

Де Вриндт рассмеялся и кивнул.

— Значит, они еще более избранные, чем вы?

— Они отсталые, — сердито отозвался де Вриндт. — Кто не признает даже Устное преда-

ние — вы знаете, мы называем его Мишна, а к нему есть толкование, Гемара, и вместе они составляют Талмуд, — застрел в пятисотом году до нашей эры, и ему уже не поможешь.

— Стало быть, вы признаете развитие? — гнул свое Эрмин. Воздух бил в лицо как из раскаленной печи, хорошо, что они надели пыльники.

— Развитие, — насмешливо сказал де Вриндт, — какое модное понятие! Речь идет о постепенно расширяемом откровении, о постоянно углубляющейся способности правильно его понимать. Откровенное учение содержит руководство для жизни и познания на все времена. Важно только приспособливать его ко все новым и новым формам жизни. То есть, — добавил он, — подчинять ему жизнь.

Эрмин кивнул. Таких людей не переубедишь.

— А разве не может быть, — спросил он, — что вы, дорогой мой, стоите на ложной позиции? Неверующие и полуверующие, с которыми вы так враждуете, смотрят на вас как на своего рода самаритян, тоже застрявших в прошлом, знаете ли. Точно так же думают и христиане. Вы можете доказать им противоположное? Если кто скажет, что Господь всегда открывался лишь через человеческий дух и то, что, по-вашему, идет с небес, просто поднимается из глубин человеческого духа, — что тогда? Говорят, в плохо поддающихся проверке вещах человек привык пе-

реворачивать направления, и в результате ему кажется, будто что-то падает с неба, на самом же деле оно всего-навсего поднимается в сознание из самых нижних его слоев. Это связано с принципом перекрещивания нервов и мозга, вы же знаете, пуля в левом полушарии мозга парализует правую сторону тела.

— Это язычество, чистейшее язычество. Пифагор, Платон, Эпикур. В ходе истории мы все это претерпевали уже не раз.

Он и не знал, как высокомерно способен выглядеть этот де Вриндт.

В этот миг Эрмин был европейцем двадцатого века, который, располагая более точными знаниями о природе, негодует на схоластика века двенадцатого. И ведь оба сидели в экипаже, которому принадлежало будущее и который как бы и явился оттуда! Стало быть, вперед, без пощады!

— Язычество ли, нет ли, как вы рассчитываете устранить возникшую ситуацию, де Вриндт?

— Стану бороться до конца. — Глядя поверх очков, он весело покосился на англичанина, который с мнимой невозмутимостью посасывал свою трубку.

— Будьте благоразумны, де Вриндт, наглядный урок кой-чего стоит. Вы видели город Наблус, кишаший арабами; а вскоре, за Афулой, мы пересечем Изрезьскую долину, или Эмек, как вы

ее называете, там будут кишмя кишеть молодые энергичные евреи, если и не в одном месте, то повсюду до самой Тверии. Ни один из них ваши взгляды не разделяет. Ни арабы, ни тем паче старые и новые поселенцы, сплошь сионисты, как вам известно. Вам не продержаться между этими двумя лагерями. Только не надо изречений, — предупредил он реплику соседа, — посмотрите на мир вокруг, старина! Кому на пользу ваше упрямство? Разве только чиновникам, эфенди. Вы же знаете, множество людей, вдобавок моих соотечественников, уже сейчас потирают руки. Вы не можете не признать — фактически ваш поступок ведет к ослаблению вашего же собственного положения в этой стране. Давайте, дорогой друг, отвлечемся от вас. Отвлечемся пока и от истинной веры. Разве положение евреев в нынешнем мире способно выдержать подобную слабость хотя бы в одном пункте? Давайте оценим его беспристрастно, как бы с точки зрения самарян. Каково положение евреев после войны?

Де Вриндт не мог не признать, что в послевоенные годы положение евреев очень ухудшилось. Повсюду экономический спад, воинствующий национализм, вытеснение евреев. С этой точки зрения он выбрал, пожалуй, неподходящий момент.

— Мне надо было действовать раньше или чуть позже.

Эрмин удовлетворенно улыбнулся. Все-таки хорошо вырвать человека из привычного окружения, чтобы он разумно посмотрел на себя и вокруг.

— А теперь давайте посмотрим на положение этой страны. Я не открою секрета, призывая вас подумать о возможной перемене курса в британской политике. Мы ведь не раз говорили об этом.

Де Вриндт и здесь с готовностью согласился. Последнее время английская политика благосклоннее к арабским притязаниям в Палестине, а не к еврейским. Беспокойство под поверхностью — здесь озабоченность, там скрытый триумф.

— Так что же вы намерены делать, дорогой де Вриндт? — спросил Эрмин, когда автомобиль въехал в густой знойный воздух долины Эсдрелон. (Самое время выпить в Афуле чего-нибудь холодненького, промочить горло.) — Вслед за вашим проектом...

— Проектом?

— Проектом, мой дорогой! Вслед за вашим проектом вы опубликуете то, что на дипломатической тарабарщине называется аутентичной интерпретацией. Мы набросаем ее сообщая, сегодня вечером, за бокальчиком хорошего вина, после того как поплаваем в Генисаретском озере. Вы направите аутентичную интерпрета-

цию правительству, а одновременно в «Палестайн-Буллетин» и повернете все так, будто дело сводится к вашему желанию привлечь к участию «Jewish Agency», создать более широкую основу, понимаете? И вместе с тем подтвердите свою приверженность Декларации Бальфура. Потому что я, дорогой мой, не идеалист, я британец, чье слово вместе со словом старого графа Бальфура стало частью вашего дела. Здесь, да и во всех странах этого региона, есть только одна вредная позиция — нерешительность. Мы знаем, что развитие, к которому стремимся и мы, и вы, идет на пользу и арабу в поле и в городе. *Этим мы должны довольствоваться. Это обеспечивает нам чистую совесть и намечает путь.* Вы напишете и подпишете такой новый документ?

Де Вриндт потер горячие ладони.

— Вы хитрец, Эрмин, и друг. Давайте пока отложим этот предмет, а? Какая поездка! Мне бы хотелось вместе с вами исполнить свое давнее сердечное желание: еще раз увидеть грезу Дамаска.

— Нет, — сказал Эрмин, уверенный в победе, — мечтания позже, Дамаск в другой раз. Так вы пересмотрите свою позицию? Подпишете? Да или нет? Вы не выйдете из машины, мой дорогой, пока не скажете «да».

— Это же чистейшее насилие, — запротестовал де Вриндт. — Мне надо что-нибудь выпить.

Арнольд Цвейг. Возвращение в Дамаск

Жаль, что вы откладываете Дамаск... визы нет, знаю. Ладно, да, шантажист!

Машина остановилась посреди широкой равнины, окаймленной холмами, возле нескольких домов и бараков, в центре которых подобие гостиницы сулило прохладительные напитки.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОДОЛГОВАТЫЙ ПРЕДМЕТ

Когда воздух над Хайфой, морской гаванью, тяжел от влажного зноя, наверху, на Кармеле, среди невысоких сосен часто дует бодрящий ветер. Город тогда изнемогает от жары, словно в котле; его безупречный, уже знаменитый залив обнимает фиалковое море раскинутыми руками белой великанши, а горный склон, поднимающийся прямо за ним, перекрывает свежие ветры и делает людей нервными, вспыльчивыми даже по пустякам.

Трое молодых людей, поднявшиеся на Кармель, полагают, что у них есть повод для более чем мимолетного раздражения. До вчерашнего дня их держали в карантинном лагере. Полиция, желтолицые арабы, обращалась с ними так, как повсюду на свете обращаются с нежелательными иммигрантами, пассажирами третьего класса, но эти трое не намерены терпеть, чтобы их относили к этой категории. Они — репатрианты, еврейский народ, крохотная его частица.

Как смеют эти олухи в черных меховых шапках так долго держать их на пороге собственного родного дома, за колючей проволокой, будто попрошайек, вероятно в надежде, что у них обнаружится какая-нибудь сыпь и можно будет снова загнать их на твиндек триестинского парохода: назад в Польшу, господа, в Чехословакию, в Румынию, в Венгрию, да куда угодно! Трое молодых людей с упоением любят сейчас красотой залива. Он окружен как бы ступенями античного театра, поднимающимися от бережья к вершине Кармеля; все здесь желтое, серое, выжженное, но голубизна моря и белизна песка внизу, камней наверху приветствуют их цветами бело-голубого флага, который выбрало себе возрожденное еврейство. Они станут пионерами этой страны, трудящимися строителями, опорой новой Палестины. Вообще-то они квалифицированные сельскохозяйственные рабочие. Но подобно десяткам тысяч своих предшественников тоже будут осушать малярийные болота, на палящем солнце заливать гудроном дороги, вручную дробить камень, ночевать в палатках под дождем и при этом быть счастливыми. Еще там, в старой Европе, они выучили иврит и твердо решили говорить здесь только на этом языке. Все, что было раньше, сожжено, пепел развеян по ветру, важно лишь то, что ждет впереди. Так они думают.

По приезде они буквально запоем читали газеты, газеты всех направлений, купленные на привезенные с собой гроши. Однако и раньше, в годы подготовки, увлеченно следили за каждым событием в этой стране, за малейшими изменениями в структуре ее населения, ее экономических возможностей, ее идей. Им знакомы все способы, какими здесь пытаются разрешить новые проблемы человеческого сосуществования; они любили и ненавидели всех этих лидеров строительства и сопротивления. Сейчас они лежат в тени невысоких сосен на грядущих строительных участках, где, надо полагать, в скором времени состоятельный гражданин построит виллу себе на старость, смотрят на дорогу внизу, на склон, на растения, скалы, круглые кроны рожковых деревьев и с завистью примечают, что рядом, в просторных владениях немецкого пастора, водопроводный кран орошает чудесной влагой грядки, которые без этого блага не зеленели бы так пышно.

Загорелый паренек, невысокий, широкоплечий, с густыми черными бровями и черными же волосами, бросает камень на скалу вниз; камень, размером с кулак, резко отскакивает и исчезает из виду.

— Так продолжаться не может, — говорит он, — надо что-то делать. Положить конец про-
искам этого предателя, быстро и решительно.

Остальные знают, о чем он говорит. Газеты сообщили им все необходимое о деле де Вриндта, и они считают себя вполне в курсе происходящего. Особенно их возмущает последний финт этого скользкого негодяя: телеграмма «Палестайн-Буллетин» из Тверии дерзко утверждает, что еврейская пресса в своих отчетах проглядела некоторые акценты текста и тем самым представила выступление ортодоксов на суд обществу не вполне правильно; через несколько дней доктор де Вриндт, вернувшись из командировки, разъяснит все ошибки. До тех пор будет разумно воздержаться от любой критики.

— По-твоему, — спрашивает его сосед, долговязый, бледный (он утаил, что на минувшей неделе опрометчиво поел немых фруктов и желудок у него пока не вполне в порядке), — по-твоему, Бер, только нас тут и ждали? Здешние лидеры все знают и будут действовать.

— Действовать, — насмешливо отвечает первый, — действовать! Торговаться они будут, выбивать опровержение, как ты уже прочитал, а то и вступать в соглашения! Наглость этих клерикальных свиней вообще-то заслуживает только одного ответа.

— Счастье, что ты приехал в страну, — насмешливо и спокойно говорит третий, упитанный, круглолицый, чуть ли не краснощекий,

один из тех белокурых евреев, которые больше похожи на евреев, чем иные темноволосые.

— Я скажу вам, что было бы лучше всего. Кто-нибудь должен поехать в Иерусалим и пристрелить этого де Вриндта на пороге его дома, средь бела дня, на улице, в предупреждение всем ему подобным, — говорит чернявый крепыш, и каждый согласный его речи словно брызжет яростным электричеством.

— Ты понимаешь, что тогда случится? — печально спрашивает долговязый. Он говорит очень жалобно, потому что чувствует слабость, его лихорадит, ужасно, если он не переживет эту знойную пору, не сможет работать на земле.

Где разместят троицу парней и чем займут, пока еще под большим вопросом. Рабочая организация, «Гистадрут»*, позаботится о них, даст совет.

— Раньше, в другие времена, здесь были другие мужчины! Трумпельдор! — восклицает чернявый и тычет мыском ботинка в сухую траву.

При нападении привыкших к грабежу бедуинов на еврейский поселок Тель-Хай погиб в бою однорукий сельскохозяйственный рабочий, Иосиф Трумпельдор, который, как и многие из них, служил в Еврейском легионе под командой

* «Гистадрут» («Всеобщая федерация еврейских трудящихся») — основанный в Хайфе в 1920 г. еврейский профсоюз; ныне израильский профсоюз.

лейтенанта Жаботинского. Легион провел тяжкие месяцы под Галлиполи, а потом из Кантары, через пустыню Эль-Ариш, вместе с англичанами отправился в Палестину. Этот Трумпельдор стал для молодежи легендарной фигурой.

— Нам надо бояться не арабов, не англичан и не либералов, а только этих ортодоксов, этих псов и врагов народа, этих страшных лицемеров. Ух как я ненавидел их дома, когда они в своих черных сюртуках, с пейсами и в сапогах шастали «в шул», закатывали глаза, тряслись, булькали горлом и завывали: ойдедой! Вечно твердили: «Так сказал раввин» да «Так сказал ребе», и играть мальчику нельзя, и ремеслу он учиться не должен, можно только сидеть в хедере, где идиот-учитель порет учеников и трем десяткам детишек одновременно вдабливает, какую молитву надо читать, когда моешь руки, а какую, когда гремит гроза.

— Времена таких людей миновали, — печально говорит бледный, — чего ты кипятишься?

Чернявый крепыш молчит. Размышляет над безумной яростью, которая только что его захлестнула. Для него времена таких людей все же не миновали — они кажутся ему невероятно нынешними. Отчий дом в словацкой деревне, очевидно, так скоро из памяти не истребишь.

— Еще отвратительнее мне образованные среди них, более западные, которые умеют пользо-

ваться ножом и вилкой и у которых кисти цицит выглядывают между модным жилетом и модными брюками, конечно, только дома, — вставляет упитанный, краснощекий. Он прищурил глаза до узких щелочек. Спинай прислонился к дереву, подбородком уперся в колени. — Бер прав, похоже, требуется предупреждение. Эти люди тащат свое гетто в самое сердце Иерусалима.

Чернявый крепыш достает газету, некоторое время что-то там ищет, потом, запинаясь, читает на иврите — говорить ему легче, нежели читать печатный шрифт без гласных:

— «Господин доктор де Вриндт — знакомое явление в еврейской истории. Предатели были всегда: наделенные блестящими талантами, они пресмыкались перед сильными, мнимо набожные, якобы пекущиеся лишь о Боге и о Торе, они тем временем обдeldывали делишки своего мелкого тщеславия, за спиной народа и непременно за его счет. Кого этим удивишь? Удивительно разве только, что эти типы процветают и здесь».

Ветер шумит в соснах, которые раскидистой кроной похожи на пинии, а после дождя заблестят красивой сероватой зеленью. Солнце, поднимаясь к полудню, безжалостно укорачивает их тени.

— Нужно оружие, — мечтательно, вполголоса говорит круглолицый парнишка, — все остальное теория.

Ввоз оружия в Палестину строго воспрещен.

— Гляди! — с сияющим видом восклицает чернявый крепыш Бер. Из внутреннего кармана пиджака он достает продолговатый предмет из черного металла.

— Дашь мне его взаймы, — вкрадчиво спрашивает круглолицый, — и не спрашивай за чем. — Ему двадцать два года. Когда он был восьмилетним мальчишкой, в городок ворвалась война и задержалась там на четыре года. Когда ему было двенадцать, происходили стычки с бандами, мародерства, убийства. Он родом из Подолии, из окрестностей городка под названием Проскуров.

Бледный верзила открывает испуганные глаза.

— Для этого... одолжу, — отвечает крепыш. — Вообще-то надо бы самому.

— Все равно, кто это сделает, — отвечает краснощекий. — Деяние анонимно. Его совершает народ.

Болезненный верзила в ужасе шепчет:

— Вы же не собираетесь убивать человека?

Остальные двое смотрят на него с жалостью. Шломо явно совсем расхворался. Сможет ли он держать язык за зубами?

— Человека... — беззаботно повторяет краснощекий. — Во время погромов у нас дома, с двенадцатого по двадцать первый, беляки убили

примерно шестьдесят тысяч евреев, не спрашивайте как. Шварцбарт расквитался за это с гадом Петлюрой, и мир его оправдал. Причем Петлюра-то был просто украинский гой — что он знал о нас? А этот — один из нас, он совершенно точно знает, что здесь наш последний шанс, и все равно продает нас арабам. Надеюсь, Шломо, в случае чего ты будешь держать язык за зубами.

Шломо молчит, только кивает. Конечно, само собой. В душе у него много возражений против затеи, он хочет переубедить друзей и смог бы, ведь мысли его совершенно ясны. Но странным образом говорить нет сил. Недомогание и жара слишком ему докучают. Только бы пережить лето, тогда он будет спасен...

— Огромная честь — совершить такое деяние, — торжественно произносит чернявый крепыш, — сам не знаю, почему уступаю эту честь тебе, Мендель.

— Всему есть свои причины, — спокойно замечает блондин. — Может, я ненавижу его еще больше, чем ты. — Его негромкая речь и сонные глаза каким-то образом преодолевают напор чернявого. Невзрачный, он не привлекает внимания, такого не поймает. — Я сбежал от небожного отца, — вдруг сообщает он ни с того ни с сего. — Знать его больше не желаю и надеюсь, что сумею выписать сюда мать и сестру. Давай мне эту штуковину.

Арнольд Цвейг. Возвращение в Дамаск

Чернявый нерешительно лезет в нагрудный карман, нерешительно достает продолговатый предмет — он не больше юношеской ладони, — протягивает блондину, гордо добавив:

— Он заряжен, так что будь осторожен.

Упитанный, с виду безобидный парень опускает тяжелый предмет в карман брюк.

— Но как ты доберешься до Иерусалима? — по-прежнему испуганно спрашивает больной верзила.

Тот сочувственно пожимает плечами. Будто каждый шофер в стране, возвращающийся порожняком из Хайфы в Иерусалим, не прихватит с собой новоприбывшего халуцника!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Домой в ДАМАСК

Взволнованный и до смерти усталый, доктор де Вриндт вернулся вечером в Иерусалим. С удовольствием вошел в свою квартиру, расположенную в квартале между улицей Пророка и улицей Святого Павла, вблизи Дамасских ворот, открыл кран и наполнил тазик и кувшин водой, еще горячей от солнца, — госпожа Бигелейзен, прислуга, придет завтра утром, когда воду, глядишь, опять перекроют, — и порадовался фруктам, разложенным на блюде в западной комнате. Он знал, что маленькие смуглые руки принесли эти абрикосы, персики и вишни, но все равно тщательно их помыл и лишь затем, произнеся благодарственную молитву творцу древесных плодов, отведал. Потом уснул без сновидений и спал очень долго. Ему чудилось, будто он в автомобиле, ведь стоило закрыть глаза, как навстречу катил пейзаж, который он видел в эти дни, и тот пейзаж, по которому тосковал: гора за горой, долина за долиной, чистый контур горы Тавор не

исчезал с горизонта, округлый, словно женская грудь, и просторы на севере, снежные вершины Хермона и Ливана тянулись в мечтах перед его глазами, путь в богатую Сирию и любимый царский город, могучий Дамаск, видевший в своих глинобитных стенах Авраама и Элиэзера, его верного слугу...

Наутро, бодрый и веселый, он занялся аутентичной интерпретацией, которую вчера набросал с Эрмином и телеграммой уже объявил прессе. Она уже не казалась ему столь необходимой, но он обещал, а слово, данное такому человеку, как Эрмин, нельзя не сдержать. Окончательную редакцию он подготовит не в одиночку, здесь опять-таки требуется согласие Цадока Зелигмана и, на всякий случай, еще нескольких влиятельных единомышленников. Прежде всего он подумал о добром докторе Глускиносе. Когда в полдень госпожа Бигелейзен уходила, он послал с нею записку раввину, в которой просил его около девяти прийти в больницу на совещание. После обеда и кофе он отправился на почту, не спеша прикидывая, что его там ждет. В ячейке лежало несколько писем и почтовых открыток, которые он спрятал в черный кожаный портфель.

На скамейке в кассовом зале сидел краснощекий светловолосый молодой еврей — круглое лицо, сонные глаза.

Бегло взглянув на него, де Вриндт подумал, что в двадцать лет и сам выглядел примерно так же. Потом назвал почтовому служащему свое имя и номер, чтобы получить печатные издания, которые не помещались в абонентской ячейке. Пришли газеты и две толстые книги, которые он должен для кого-то «отрецензировать».

Когда он пошел прочь, поднялся и блондин в синей рубашке, старомодных бриджах, высоких шнурованных башмаках и обмотках.

Едва очутившись на улице, де Вриндт дал волю любопытству: нагнулся над черным портфелем и бегло просмотрел газеты из Европы, письма из Европы и из страны. Полную порцию излитого на него яда он получит только завтра на службе, когда полистает газеты, которые, за отсутствием других событий, снова будут писать о нем, о его выступлении и о контрмерах сионистских властей, пророчествуя или негодуя. Одно из писем, которое он вскрыл, когда мимо как раз проходили феллахи с их чеканными лицами и розовощекие томми, рослые блондины в хаки, пришло из Хайфы, на тонкой папиросной бумаге всего шесть слов на иврите: «Если Вам дорога жизнь, уезжайте из Иерусалима. Умиравший». Это не первое письмо с угрозами за последние недели; приходили и более злобные, хамские и яростные; это, пожалуй, напоминало скорее предостереже-

ние. Де Вриндт скривил рот, еще сильнее выпятив нижнюю губу: евреи не убивают. С тех пор как опасность со стороны некоего Мансура миновала, политика одержала верх над семейной честью, он больше не верил в угрозу. Эрмин высказался в таком же духе, смеясь обронил, что это единственный положительный результат его крайне опрометчивого шага. Странно, что Эрмин до такой степени на стороне сионистов, хотя вообще-то ничего удивительного здесь нет. Что ни говори, с дружбой все хорошо, раз она выдерживает идейные разногласия, и с политической жизнью тоже все хорошо, раз люди, несмотря на противоположность взглядов, могут оставаться друзьями. Продолжая путь, он сообразил, что, будь Эрмин евреем, думал бы иначе.

Люди на тротуарах мешали ему, он искал уединенных переулков к дому, ругая себя за несдержанность, поднялся по лестнице (как всегда слишком торопливо) и порадовался беззвучному покою в стенах своей квартиры. Правда, там было душно, но де Вриндт уже попробовался уличного зноя; он разделся, насколько позволяли приличия, закурил сигару и, удобно расположившись в кресле, вытряхнул на письменный стол содержимое черного портфеля. Работа с корреспонденцией — обычная дневная рутина любого писателя. Чего только народ

не пишет! К примеру, «друг» из Роттердама не согласен с некоторыми идеями его последней книги.

— Этим людям хочется, — проворчал он себе под нос, — чтобы ты жил и думал как состоятельный коммерсант, а сочинял как Шекспир или Верлен.

Де Вриндт порвал письмо, отвечать незачем. Зато письмо издателя изучал долго: поразительно, но этот человек предлагал ему написать исторический роман, словно эхом откликаясь на его планы. В самом деле, пора передать должность кому-нибудь помоложе, а самому вновь целиком посвятить себя писательству. Во Франкфурте, Кракове, Данциге достаточно молодежи. В Европе он поищет подходящего молодого человека. Тот должен иметь университетское образование, уметь излагать свои мысли на нескольких языках, прежде всего быть пылким поборником дела Торы, не мошенником, не мелким дельцом, подозрительно относиться к проiskам сионистов. Должен знать, как надо разговаривать с англичанами и как — с арабами. Внезапно де Вриндт с содроганием вспомнил короткую сцену, очевидцем которой стал в бурном двадцать первом году, когда арабы рассчитывали демонстрациями произвести впечатление на англичан. Какой-то подросток, делая руками издевательские жесты, кривлялся перед взводом

английской конной полиции, а феллахи и горожане на улице — случилось это в Хайфе — одобрительно смеялись. Начальник полиции, его хороший знакомый, спокойный британец-цветовод, коротко крикнул подростку, который паясничал прямо перед его конем: «Уходи!» — крикнул по-арабски, два слога: «Имши!» Однако шутник даже не думал уходить. Он свободно-рожденный араб, где хочет, там и пляшет. Тогда полицейский офицер достал револьвер — короткий хлопок, человек падает возле сточной канавы, патрульный взвод скачет дальше, внезапно вокруг ни малейшего препятствия. Серьезных беспорядков в Хайфе больше не случилось. Как он тогда жалел умирающего, которого унесли прочь, на уличной мостовой остался лишь узкий кровавый след! Не поймешь, кому он принадлежит. Араб быстро исчезает в толпе соплеменников.

Де Вриндт решил принять душ. Некоторое время пришлось терпеть теплые струи, дожидаясь, пока бак под потолком подаст воду попрохладнее. Стоя под приятным дождиком, он размышлял об историческом романе (письма издателей, как правило, возбуждают фантазию). На материале Святой земли, писал этот господин. Здесь исторических романов как сорняков — полным-полно. Разве он сам не подумывал написать про своего старого врага и друга,

бородатого императора Адриана? Он представил себе серую серебряную драхму, на реверсе которой были изображены сплетенные руки, и надпись — *patèr patrídos*. Вряд ли сложно отыскать в анналах тогдашней эпохи материал для повествования, которое наглядно и прозрачно покажет вражду меж греками, эллинизированными евреями Александрии и ортодоксальными учениками палестинских раввинов. Он уже толком не представлял себе ту эпоху, видел только фигуры императора и рабби Акивы, мог их чуть ли не пощупать, кутаясь в теплую банную простыню, заворачиваясь в нее, будто в тогу. Пожалуй, хорошая идея. Возможно, так возникнет живое зерно, которое получит многообещающее развитие.

Вернувшись к письменному столу, де Вриндт набросал несколько строк ответа: он не против, а поскольку все равно собирается в Европу, то привезет с собой конкретные предложения. С остальной корреспонденцией он разделался быстро. Прежде чем бросить в корзину, еще раз, наморщив лоб, глянул на письмо с предостережением или с угрозой: «Если Вам дорога жизнь, уезжайте из Иерусалима». Что за почерк? Нетвердый, чуть ли не дрожащий. Да, он уедет из Иерусалима, но потому только, что сам так решил. А дорога ли ему жизнь... Он пристально смотрел прямо перед собой. В общем-то, конеч-

но, дорога. Но каков будет ответ, если копнуть глубже, в подземельях души? С самого низу опять выплескивалось храброе желание жить, которое было больше чем привычкой и бунтовало против любого намека на гибель. Благодарный за повод для небольшого самоанализа, он смял листок и бросил в мусорную корзину, а следом отправил и конверт. Почтовый штемпель Хайфы он разобрал правильно.

Последнее письмо, большое, белое, — от брата. Тот сетовал на постоянное падение цен на сырой каучук, рис и кофе. Стало быть, его рента уменьшалась — лишний повод заключить выгодный издательский договор. Его ежемесячные доходы — силы небесные! — и без того невелики. Львиная доля уходила на пожертвования, больше предписанной десятины, в самом деле! Можно питаться попроще, Глускинос его только похвалит. Затем он вдруг вспомнил, что собирался черкнуть несколько строк Эрмину — ответ на пропущенный мимо ушей вопрос, в благодарность за прекрасную поездку. Затрещала пишущая машинка, но то, что он немного погодя прочел в ее бесстрастных буквах, показалось ему настолько личным, что он посреди фразы вытащил лист из каретки, смял и выбросил. Нет, в другой раз и устно; ведь скоро он вновь будет сидеть напротив своего товарища. Он достал заметки, записи и помятые листы своей анкеты и

увлеченно работал, пока не проголодался. Поел фруктов, порадовался встрече с Саудом, условленной назавтра после обеда, отломил несколько кусочков хлеба и опять работал, пока комнату не наполнил красноватый свет. Тогда он потянулся, расчесал щеткой волосы и бороду, тщательно оделся для совещания. Не забыл аккуратно сложить в черный портфель все необходимые бумаги, прихватил и пакет с сигарами. Рабби и доктор Глускинос охотно курили голландские сигары.

Из дома он вышел чуть ли не в радостном настроении, не спеша шагал по шумной, смеющейся улице, сворачивал то в один переулок, то в другой, зашел по пути в кафе, взял немного фруктового мороженого, холодное, сладкое лакомство приятно скользило в горло. Люди оглядывались на него, показывали пальцем, отчего он почувствовал неловкость. Заметил: официант не подходил за расчетом. И хозяин тоже. В конце концов он положил деньги на блюдо и ушел. На минуту-другую задержался у витрины книжного магазина. Улица была очень оживленная. Рядом остановился молодой парень, ворот синей рубашки расстегнут; он не приставал к де Вриндту, и тот не обратил на него особого внимания. Лицо, ну да, он уже где-то видел его; Иерусалим невелик. В витрине выложены европейские новинки на многих языках, романы, эс-

сеистика, путевые заметки о России. Шеренгами выстроились переводы на иврит и сочинения местных писателей, молодая еврейская литература. Де Вриндт скривился — вот она, ставка его недругов, которые низвели священный древнееврейский до языка еретиков и словами, где каждая буква пропитана духовными и освященными традицией связями, описывали любовный роман между халуцником и халуцницей. Как если бы господин д'Аннунцио пользовался латынью «Вульгаты», подумалось ему; впрочем, и это сравнение метким отнюдь не назовешь.

Улицы Нового города погружались в полумрак, с гор задувал прохладный, спасительный ветер, скоро половина девятого. Де Вриндт мог не спешить, он вовремя войдет в подъезд больницы «Шомре Тора». Горожане, многие с непокрытой головой, многие в черном, исчезали в домах, свет электрических и керосиновых ламп падал из квартир на улицу, нереальный в быстро наступившей ночи. Он увидел впереди подъезд больницы, белый и пока что отчетливый, и внезапно услышал за спиной чей-то голос: «Смерть предателю». И даже не успел обернуться, как что-то ударило его — раз, и еще, о боже, и еще! — что-то похожее на три резких грохочущих удара в левое плечо, он закричал и упал ничком, недолимо брошенный на вытянутые вперед руки, с уже гаснущим сознанием.

Он очнулся, словно в зыбком тумане. Скоро? Прямо сейчас? В невообразимое прошлое?

Когда душа человека внезапно отвергается и его захлестывает подсознание, время отпадает от него, и он наполняется непреходящим, выстроенным одно подле другого, извечным. Поскольку же он человек, подчиненный последовательности одного за другим, он скользит, плывет, уносимый прочь, и проживает жизнь в порядке хода времени.

Так что же, он, Ицхак, наконец-то на пути в Дамаск, свершилось его заветное желание еще раз увидеть дивный город? Значит, он не возвратился в Цфат, где мощная стена окружала гору Хананеев; Элизер догнал его, верный слуга с испытующими глазами Эрмина. И на быстрых, как стрелы, верблюдах отца, великого шейха, он мчался в Дамаск. Как звенели колокольцы на шеях светло-коричневых животных! Он, Ицхак бен Авраам, возвращался с чужбины домой. Но то была дорога, ведущая через Галилею, на север, весной. Пастухи стояли возле нее, опершись на свои посохи, а черные их овечки щипали траву вокруг красных анемонов. Из черных шатров бедуинов выходили они, сыны Моава, те, что пастушничали в роще Мамре и под пальмами Иерихона. Да, вокруг него раскинулась земля, дивная Земля обетованная, которую сам Бог избрал и обетовал его отцу, Аврааму, сыну Фар-

ры, рожденному в лунном городе Уре в Халдее и теперь ожидавшему в Дамаске своего сына. Но мимо проносились кряжи Хермона, и снега его граничили с пламенно-синим небом. И он, Ицхак, принесенный в жертву на горе Мориа и ныне излечившийся, возлежал в носилках под сенью занавесей и видел каменных истуканов, какими земледельцы отпугивали птиц небесных. Простил ли он отцу своему, что кровь его окропила гору? Разве не прошел он через множество преобразований, от круглорогого овна до некоего де Вриндта, чье имя, впрочем, для него уже почти ничего не значило? Вот они вброд перешли Иордан, там, где он еще ручей, и вокруг расстилались равнины Арама, а они стрелою мчались по дороге, что вела к великим шейхам Дамаска, где стоял лагерь Авраам, сын Фарры, разрушитель идолов. Да, он хотел возвратиться домой, на север, и на север возвращался; нос корабля пустыни стремительно разрезал поток дней и недель. Мимо скользнула деревня явления: вон там шла по дороге белая фигура галилеянина, которому не посылали ни приветов, ни взгляда, а у ног его скорчился рабби Савл из Тарса, отступник, тот, что нанесет вождю воинств неисцелимую рану. А вот и ворота, возле которых его в корзине опустили наземь, и сладкие воды Дамаска омывали луга, синие кроны сливовых деревьев, размерность мостов. Но и здесь не было Авраа-

ма, великого отца; он искал его во дворе мечети, в храме ложных богов, и открылось вокруг него огромное чудо каменного двора, внутренность каменной постройки. Сотни тысяч преклоняли там колена, опускали голову и касались земли, а она ведь была всего лишь женщиной и стерпела, что его, Ицхака, принесли в жертву на ее груди, именуемой Мориа, обрезали, каменным ножом пролили его кровь. Что есть земля как не накрытый стол, женщина, чтобы выйти из нее и бежать от нее, все равно куда? Мать — беловатый холст, из нее ты вытупляешься, но солнце — это отец, великий солнечный бог Ваал, чей дом воздвигнут в том месте, где справа и слева горы, в ложбине низинных земель, в Баальбеке, городе Вааловом. И там, в запустении храма, сидел на престоле Авраам, сын Фарры. Он вновь разбил богов, опрокинул колонны, мощные, толщиной в рост человека. Одна, покосившись, еще прислонялась к уцелевшей стене, шесть еще поднимались к небу подобно шести струнам разбитой арфы. Но позади возвышался он, отец, Авраам, сын Фарры, с бородой цвета огня, от которой исходило солнечное сияние, и с синим смехом в глазах, коим цвет подарило небо, и это он, творец вселенной, невзначай истребил землю, а легионы сущего начертил в пыли, дабы возникли. Четыре реки истекали из его ног, там, где они стояли. Евфрат, и Нил, и Иордан, и Инд или

Тигр, он более не помнил. Ему хотелось сбежать от взора отца, но тот уже заметил его, и с кружением в голове он пополз к нему. Еще пахло слегка кровью овна, а он, неуклюжий в детском кафтанчике, тащился к владыке, хотел проползти под аркою ворот, стоявших с незапамятных времен. Но едва он заполз под арку, она рассыпалась, или это он, Ицхак, так страшно разбух? Свод опустился на него, камень сдавил ему бока, руки и ноги зарылись в землю, или она поглотила их, дышать было уже трудно, чернота камня грозила ему, и, словно далекий шум морских волн, в ухо прихлынул смеющийся голос страшного отца, который все сотворил, и все упорядочил, и направил реку времени против него: «Не хочешь ли ты наконец полюбить меня, Ицхак, сын мой, таким, каков я есть?» И упрямый отрок с трудом разжал зубы и выдохнул: «Нет!»

Это «нет» услышали мужчины, когда через несколько секунд после грянувших выстрелов выбежали из ворот и увидели, что Ицхак-Йосеф де Вриндт лежит в крови, заливающей плечи, голову и бедра. Он скончался в тот миг, когда его друг, доктор Глускинос, опустил его на скамью в вестибюле больницы «Шомре Тора».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЖЕРТВА АРАБА

Врач, доктор Глускинос, грузно сидел на низкой скамеечке у ног трупа, две свечи горели в головах. Труп просто лежал на столе, на белом столе, в больничном морге.

Эрмин, до которого наконец-то дошла роковая весть, возвышался под низким сводом как башня, отбрасывая двойную тень на каменный пол и стены. Его взгляд надолго задержался на покойнике.

— Мне бы хотелось сделать маску с этого лица, — сказал он, — в гипсе или вроде того.

Глускинос протестующе мотнул круглой головой:

— Нельзя, по еврейскому обычаю это совершенно недопустимо.

К черту ваши обычаи, разозлился Эрмин. То, что открылось в этом лице, надо сохранить. Что же в нем читалось? Просто возвращение домой. Он выглядел освобожденным, как блудный сын, которому простили все — скитания, упрямство,

унижение, общество свиней. Сколько благородства вокруг закрытых глаз, вокруг скул, сколько покоя в чуть приоткрытых губах. Подлинное лицо де Вриндта — вот что это такое. Держа руку покойного в своей — холодную, уже застывшую руку трупа, — Эрмин был совершенно спокоен. В мозгу звучала мелодия, в каждом вздохе, как обычно, когда что-то его захватывало, на сей раз кавалерийский сигнал «сбор!», который в своей энергичной звонкости совсем не подходил к этой минуте. В душе ни малейших сантиментов, он был серьезен и жесток. Человек живет, а потом вдруг перестает жить; слишком много всего приписывают этой перемене. Равнодушие Востока к суете жизни на земле куда понятнее, нежели позиция Запада. Эрмин уже слишком проникся возвышенным равнодушием Иерусалима к рождению, болезни, несчастному случаю, смерти, чтобы удар, полученный через маленький гладкий телефон, ощущался долго. Это лицо не должно пропасть без следа. Завтра он вернется и сфотографирует покойного. В остальном его ждала теперь естественная задача — отправить на виселицу того, кто стрелял.

Три выстрела, почти в спину, с очень близкого расстояния; вполне современное, малокалиберное оружие. Завтрашнее вскрытие извлечет из тела две пули, сказал врач. Жаль, чертовски жаль, что снова один из нескольких изощренных

умов этого города выбыл или выпал. Он задержался на этих словах; странно, что оба они слились в странном послевкусии... К счастью, здесь есть человек, который привык выполнять свои намерения и намеревался теперь повесить убийцу, все равно когда. У него есть время; под британским флагом убийство не имело срока давности, и за смерть столь замечательного человека, как де Вриндт, можно в случае чего отомстить и через десять лет. Но почему он обратился так далеко в будущее? Пусть нелепое убийство такого интеллектуала наводит на безрадостные мысли о тщетности жизни и духа, — будьте добры, мистер Эрмин, чуть больше внимания! Он коротко повел плечами, одернул пиджак, надел шлем, легкий белый тропический шлем.

— Что вы нашли в его карманах? — спросил он у доктора Глускиноса.

По старинному еврейскому обычаю в знак скорби врач надорвал воротник своего халата. Не вставая со скамеечки, кивнул на предметы, аккуратно разложенные в ряд на выступе стены, в том числе бумажник и кошелек. За ними лежал черный запертый портфель. В свое время он будет открыт.

Сейчас Эрмина интересовало только одно — ключи от квартиры друга. Перво-наперво нельзя допускать туда уборщицу. Эти бабы вечно выбрасывают то, что может стать уликой, и на-

драивают мебель, когда важно оставить ее в пыли (причем именно в таких случаях). Госпожа Бигелейзен, пухленькая еврейка из Восточной Европы, и ее четверо детей состояли в родстве с рабби Цадоком Зелигманом; стало быть, с нею можно связаться.

Престарелый раввин некоторое время провел, запершись в дальней комнате. Сейчас он вышел, без кровинки в лице, совершенно потухший, черный кафтан спереди разорван. Ему, человеку из священнического рода, законы чистоты воспрещали находиться в одном помещении с трупом. В слезах, стоя у порога, он простился с соратником, которого любил, втайне возлагая на него бóльшие надежды, чем на кого-либо еще в Израиле.

— Все кончено, — простонал он, закрыв руками лицо, — этого не должно было случиться, Вечный отнял у нас святого мужа, мы отвергнуты.

Эрмин немного проводил раввина. Растерянность скорбящего заразительна, а ему она совершенно без надобности. Под мерцающими в вышине звездами он настоятельно попросил старика сегодня же послать кого-нибудь к госпоже Бигелейзен, которая ни в коем случае не должна заходить в квартиру де Вриндта, пока не разрешит полиция.

Рабби Цадок Зелигман выслушал его, молча кивнул. В душе у него все было холодно и мерт-

во. Почему бы и не послать кого-нибудь из учеников к этой женщине? Все равно ведь он разбудит их, чтобы сообщить ужасную весть и вознести к небесам полуночную молитву слезного отчаяния, ибо великий муж пал в Израиле, от руки убийцы... той же еврейской крови. Грядет конец света.

Эрмин повернул обратно и приказал себе: сейчас ты пойдешь спать. Нет смысла хвататься нынче ночью за необдуманные меры. Уж не молодой ли учитель Мансур в ущерб партии и родне исполнил свое намерение? Нет, невероятно. Но одновременно и вполне вероятно, потому что страсти куда сильнее и слепят больше, чем взвешивание выгоды и урона. Эрмин был далек от того, чтобы позволять предрассудкам исказить картину случившегося. (Да и официальных заключений пока что нет.) Есть только подозрение и предположение — и все. Если преступник тем временем пустился в бег, если автомобиль увозил его на север, в Сирию, или на юг, в Египет, на восток, в страну эмира Абдаллаха, или на запад, на корабль, то надо устроить ему сложности на границе: разослать телеграфный циркуляр постам в Кангаре, Яффе, Хайфе, Рас-эн-Накуре и так далее. На ближайшей стоянке он взял такси и проехал в ночную дежурную часть, где распорядился до завтрашнего вечера задерживать

всех, за исключением отъезжающих туристов, даже если паспорт и цель поездки не вызывали никаких сомнений. Поднять шум задержанным, конечно, не возбраняется.

Время шло к одиннадцати. Иванов, сказал себе Эрмин, а потом спать. Черкес обходил сегодня ночью кабачки в греческом квартале Никефория, продолжая тщательно и неотступно расследовать ограбление тринадцати автомобилей. Он уже торговался насчет карманных часов из добычи того вечера.

Иванов, неуклюжий, сияющий, сидел за столиком, с виду совершенно пьяный. Только что, к восторгу молодых и старых посетителей в тарбушах и тюрбанах, он сплясал танец своей родины, да так, что напольная плитка трещала под каблуками, а у сыновей здешнего края появился повод презирать варвара, который неприличным образом вскидывает ноги, размахивает руками, а вдобавок требует, чтобы его как персону официальную принимали всерьез. Приход английского эфенди, впрочем, положил конец всеобщему веселью. Плясуну и выпивохе наверняка грозит расправа. Видали, оба вышли за дверь, чтоб не позориться, устраивая нагоняй при всем честном народе.

— Хороший след, — тихонько сказал Иванов уже за дверью. — Здесь обнаружился хороший след.

Эрмин посмотрел на него. Верно, в восемь это было еще самое важное.

— Отлично, — поблагодарил он, — очень интересно. Но тем временем убили мистера де Вриндта, сегодня вечером, около девяти, в центре города, у входа в глускиносовскую больницу. Что ты думаешь по этому поводу?

— Господин, — сказал Иванов, охрипший от множества сигарет, — отдай дело о грабеже кому-нибудь другому; я даже сообщу ему про карманные часы, хотя мое вознаграждение в таком случае уменьшится. Но в этом деле позволь мне быть твоей правой рукой. Между ним и нами будет кровная месть, между всей его семьей и нами, и я снова увижу тебя за работой, как при том грабеже, когда бедуины из Эс-Сальта убили двух немецких туристов. Я чую кровь, — неожиданно закончил он, озираясь по сторонам, будто вокруг лежали трупы, — говорю тебе, господин, много крови прольется, и весьма скоро.

Эрмин добродушно спросил, много ли он выпил. Надо твердо стоять на почве фактов, а не гадать.

Иванов обиженно взглянул на него. Надо доказать, что он трезв? Возможно, Джеллаби действовал самовольно, на свой страх и риск. Сегодня вечером в сиротском приюте шейха Эль-Беледа назначено совещание национальных лидеров; он, Иванов, немедленно спросит у поли-

цейского охранника, закончилось ли оно и присутствовал ли там учитель Мансур. Хотя он мог и нанять кого-нибудь, например... Иванов задумался и оборвал фразу.

— ...например! — воскликнул Эрмин. То-то и оно: говори, только если можешь доказать. Любой опрометчивый шаг может поднять адскую шумиху. — Узнай, был ли Мансур на совещании, и возьми дом под наблюдение. Я иду спать, а завтра с утра осмотрим квартиру. Малыш Сауд наверняка придет туда, у него уроки по вторникам и пятницам. Дежурная часть может завтра утром дать газетчикам информацию, что вчера вечером около девяти известный политик доктор де Вриндт был убит, вероятно грабителями... Твою помощь в расследовании я, кстати, принимаю.

Они обменялись рукопожатием.

Пять минут спустя Иванов, к всеобщему сожалению, распрощался с собутыльниками. Такова жизнь полицейского! Придется заступать на ночное дежурство, потому что у его коллеги Абу Атабу скоростигжно умерла жена. Женщины ни на что не годятся, даже умереть вовремя не могут.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Союзники

Л. Б. Эрмин в волнении ходил по песочно-желтым коврам кабинета де Вриндта, того самого кабинета, что всего несколько недель назад слышал их громкий оживленный разговор. Сейчас здесь шуметь не хотелось. Он весьма тщательно обыскал всю квартиру. Мусорная корзина писателя, плетенная из коричневой лозы и вместительная, явно никогда не привлекала особого внимания. Теперь же она стала голосом покойного; из ее круглого зева, как из остылой груди под больничной простыней, доносилась его речь — обрывочная, рожденная скрытностью и, вероятно, запинаящаяся от застенчивости. Он обращался к нему, к Эрмину, на английском языке, и скомкал листок бумаги в кулаке, вместо того чтобы ото-слать: «Дорогой Эрмин, в Тверии Вы спросили меня, чего я, собственно, хочу, и, как Вы помните, я обещал ответить. Так вот: чего я, собственно, хочу? Того, чего хочет каждый порядочный писатель: правды во имя ее самой, справедливо-

сти во имя людей, милосердия во имя сообщества и любви во имя Господа. Мужество противостоят собственному народу и говорить ему, что с ним не так и чем он страдает, — оно еще с времен пророков разумеется само собой. И чем большему числу группировок...» Здесь строчка обрывалась. Ах, бедняга, подумал Эрмин, глядя на аккуратно расправленный листок, почему ты говоришь это мне одному? Почему не сказал публично? Он снова видел перед собой садовый столик в Тверии, вино на нем, пламя керосиновой лампы, стеклом защищенное от ветра, слышал шелест больших олив, тихий плеск волн Генисаретского озера; видел в красновато-желтом свете овальное лицо де Вриндта, тускло поблескивающие глаза, рот с выпяченной нижней губой, который умел так умно критиковать. Н-да, теперь все это в прошлом; третьего дня, вечером, посреди пространного разговора были произнесены две короткие фразы, продолженные в этом письме. Оно все-таки дошло до своего адресата, подумал Эрмин, складывая листок и пряча его в бумажник; я не забуду, мистер де Вриндт. Ответ с того света, если таковой существует, в чем я сомневаюсь; а теперь за работу.

К счастью, в корзине для бумаг нашлось кое-что еще; подсказки — не более того, но все-таки важные. Что они подсказывали, о чем говорили, эти смятые и порванные клочки —

листок папиросной бумаги с шестью словами на иврите и голубовато-зеленый конверт со штемпелем Хайфы? Об угрозах жизни де Вриндта, о предостережениях. Угрозы вряд ли много значат, угрожать мог кто угодно. Предостерегать мог только знающий. Эта записка из Хайфы — скорее предостережение? Но ведь она стала важна лишь после преступления? Эрмин признался себе, что тем самым вопрос вчерашнего вечера поднялся на совсем другой уровень, что Иванов, пожалуй, все-таки оказался пророком. Если следовать предостережению, то придется допустить, что де Вриндта убил еврей. Тогда он имеет дело с политическим убийством, последствия которого предугадать невозможно. Здесь как в шахматах: ввиду убийства противника, готового пойти на соглашение, арабы возьмут очень резкий тон, и будут правы. Сионисты начнут с возмущением отметать упрек, что они терпят в своих рядах убийцу. И как козырь могут выдвинуть аргумент, что до сих пор полиция искала только арабский след. Тем самым для него, Эрмина, возникнет политическая необходимость раскрыть причины своих подозрений против Мансура, а стало быть, предать огласке частную жизнь друга, уничтожить память о нем. Обвинения такого рода, бездоказательно направленные против одного из влиятельнейших семейств города, могут стать искрой — все полыхнет как порох, а поро-

ха тут, черт побери, полно, если можно так выразиться, и в атмосфере, и между людьми.

Каким глубоким безмолвием полна квартира! Как аккуратно она выглядит! Его друг де Вриндт был до крайности чистоплотен. Был! Страшно — как быстро он привык к прошедшему времени касательно человека, который стал холодной плотью и невесть куда улетевшей душой меньше суток назад. Господи! Господи!

Эрмин был из тех, чья боль проявляется в настороженном нетерпении. Они нервозны, как царственные животные, и ждут лишь случая нанести могучий удар — все равно кому. На листке календаря он нашел ожидаемую пометку: в половине шестого — урок С. Значит, Сауд придет. От него он сразу узнает, ведет ли арабский след в тупик. Вопрос: в состоянии ли Мансур поручить месть другим людям? Ведь сам он не просто присутствовал на вчерашнем собрании, но с восьми часов сидел на возвышении в президиуме, у всех на глазах. Надо надеяться, официально еще никто в доме Джеллаби не побывал — ни Иванов, ни кто-нибудь другой из агентов. Газеты выйдут только вечером, точнее, под вечер. Если мальчик придет в половине шестого, то будет еще в неведении; если узнает о случившемся по дороге, например ненароком услышит от людей, то прибежит раньше, или просто придет, или не явится вообще. Может, найдется завеща-

ние, написанное после первых угроз; если нет — бедный парнишка! Тогда наследство де Вриндта отправится морем в Голландию, и единственный человек, которого он любил, останется ни с чем. Такое случается постоянно; не помешало бы все-таки держать «последнюю волю» наготове в ящике стола.

Эрмин пообедал в своем клубе, дома немного вздремнул, выпил кофе и около половины пятого вернулся в безмолвную квартиру. К отъезду в Хайфу все было готово; один из чиновников округа Нижняя Галилея вызвался предоставить ему жилье и ванную.

Без малого в половине шестого раздался звонок в дверь.

Эрмин вышел в переднюю, стал так, чтобы, открывая, остаться невидимым, впустил мальчика. Запер за ним дверь.

Сауд узнал его, несмотря на сумрак в коридоре.

— Сидна* Эрмин? Что случилось с Отцом Книг? Разве он с вами не вернулся?

— Сначала пройдем в комнаты! — Эрмин сел спиной к окну, рассматривая свежее, простодушное лицо, красивый овал, слегка капризные губы, красивые продолговатые глаза. Бедный парнишка, подумал он, ну держись.

* Господин (араб.).

— Да нет, — сказал он, — наш доктор де Бриндт вернулся, но вчера ночью... — В голове мелькнуло: как бы выразиться помягче. — Его застрелили...

В этот миг мальчик Сауд ибн Абдаллах эль-Джеллаби доказал, что обладает всеми задатками настоящего мужчины. Он не сказал ни слова, не заплакал. Только побледнел, лицо стало изжелта-серым, глаза в темных тенях, руки повисли, рот слегка приоткрылся.

— Да, — продолжал Эрмин, — дело плохо, нашего друга больше нет, нам остается только отомстить за него.

Мальчик беззвучно шевельнул губами. Смотрел в рухнувшую жизнь. Вот только что автомобиль его юности весело катил вперед, и вдруг дорога оборвалась, асфальтовое покрытие с кабелями и трубами повисло над пропастью.

— Где он лежит? — прошептал он. — Где я могу увидеть его?

— Мы поедем вместе, — спокойно сказал Эрмин. — Его застрелили на пути к другу, к хакиму* Глускиносу, почти на пороге его больницы.

— Посреди улицы, — сказал мальчик. — Такова была воля Аллаха. Позволь мне попить, горло пересохло. — Дрожащими пальцами он взял странный графин, налил в стакан воды, жадно выпил.

* Хахим — врач (араб.).

— Я думал, — продолжил разговор Эрмин, — ты уже знаешь. Слухи в здешних краях распространяются быстро.

— Не между теми и нашими. Может, еврейские олухи уже знают, те, что бросали в него камни. Может, евреи в ресторанах и конторах уже сейчас радуются. Отец Книг мертв. — Он говорил все это в пространство комнаты, как бы себе самому, и в тоне арабских слов сквозила такая боль, что и у Эрмина повлажнели глаза, до сих пор мучительно сухие. — Отец Книг ушел, о-о, и я больше не увижу его. Он учил меня, он показал мне, что мужчина много знает и при этом остается кротким. Он заботился обо мне, как заботилась мать, когда я еще носил свое первое платье. — Слезы катились у него из глаз, он стискивал зубы, боролся с ними, смахивал смуглыми кулачками. — Теперь эти собаки убили его, потому что его мысли и их мысли не были одинаковы. О, сидна Эрмин, ему надо было остаться с книгами и со мной, а не вмешиваться в игры взрослых, где на кону стоят смерть и жизнь.

Верно, подумал Эрмин, так оно и есть! Не ко двору он был взрослым людям, бедняга де Вриндт. Внезапно Эрмин остался в комнате один. Сауд исчез. Из-под стола, из-под тяжелой бухарской скатерти, доносились звуки: всхлип, хрипая с ним борьба, потом почти подавленный стон, плач.

— Я не хочу, не хочу, не хочу, — твердил осиплый голос, так продолжалось несколько минут.

И Эрмин подумал: любовь есть любовь, а все прочее — это обман и ханжество.

В конце концов черная коротко стриженная голова снова вынырнула из пространства меж столом и диваном, надела тарбуш, уже спокойнее смотрела покрасневшими глазами.

— Я отдам тебе книгу, которую он давал мне, — сказал мальчик, снял с книги газетную обертку, в которой нес ее под мышкой, поцеловал и поставил на место в шкаф с зелеными занавесками. — Никогда больше мне ее не читать. Или ты оставишь ее мне на память, чтобы я выучил ее наизусть? Там идет речь о тех временах, — сглотнув, добавил он, — когда арабы и евреи вместе жили в Испании. Это было давно и уже не повторится.

— Оставь книгу себе, — сказал Эрмин. — А почему не повторится, например, здесь?

— Между ними и мной вражда, отныне и до смерти, — вскричал мальчик, взмахнув скатыми кулаками. — Главное теперь — отыскать убийцу, и мы его отыщем. Не смейся! — с жаром воскликнул он. — Мальчишки на улице много знают; мы не дураки, какими нас считают взрослые. У нас своя жизнь.

— Знаю, — отвечал Эрмин, — мальчишки и в Англии, и повсюду на свете живут своей жиз-

ню. Вопрос лишь в одном: одобрил бы твой убитый друг то, что ты только что обещал, Сауд ибн Абдаллах?

Сауд задумался, опустил голову.

— Нет, конечно, — признал он. — Стало быть, я должен провести различие между убийцей и его лагерем и другими евреями.

— Что ж, весьма мудро, — кивнул Эрмин. — Значит, ты уверен, что его убили не ваши из-за твоей с ним дружбы?

Сауд посмотрел на него с удивлением:

— Так ведь мой отец запретил! Болван Мансур рискнул заикнуться об этом. Но я поклялся отцу, и он мне поверил. Ни один араб не поднял бы руку на Отца Книг после слов, сказанных главой нашей семьи.

Эрмин раскурил трубку. Наконец-то ему вновь захотелось почувствовать вкус голубого дымка. А услышанное очень похоже на правду.

— Значит, — на всякий случай спросил он еще раз, — ты полагаешь, твой брат не мог нанять кого-нибудь из арендаторов, оборванца из ваших деревень, заплатив два десятка пиастров? Полиция учитывает такую возможность.

— Так бывает, — задумчиво сказал мальчик, — когда речь идет о словесных оскорблениях, женских дразгах или иных обидах. Тогда, пожалуй, да, — продолжал он, покраснев, одновременно искренне и со стыдом, в глубочай-

шем смятении души всего лишь умный, рассудительный ребенок, не думающий о себе. — Но мой брат Мансур не настолько горяч, его гордость недостаточно самовольна. Он мог бы не подчиниться отцу, если бы тот просто запретил, не назвав причины, которая имеет для Мансура значение. Однако отец назвал причину, и с нею Мансур не мог не считаться, ведь речь шла о деле всех арабов в этой стране. Нет, сидна Эрмин, тот, кто ищет убийцу среди феллахов, только попусту тратит время. Нашего друга убил человек из другого лагеря, и его надо найти!

Эрмин смотрел во взволнованное лицо мальчика, вернее, уже подростка, который произнес эти слова как пылкий обет.

— Он будет найден, — спокойно подтвердил он. — Ты и я, мы найдем его.

Газеты воздержались от пространных комментариев. Писали, что боролись с живым, никогда, кстати, не отрицая его блестящих талантов, но перед лицом смерти складывают оружие. Политика убитого была неудачна; он ставил партийную страстность намного выше общего дела и растерял симпатии, коль скоро вообще имел таковые. Однако в то же время все сокрушались о жертве разбойного нападения, ибо лишь о таком нападении и могла идти речь. И резко сетовали на растущую опасность плохо освещенных

КНИГА ВТОРАЯ. ВЫСТРЕЛЫ В ИЕРУСАЛИМЕ

городских улиц. Полиция, впрочем, уже идет по определенному следу.

Арабские газеты по тону мало отличались от еврейских. Лишь в сообщении ведущей националистической редакции сухо, без обиняков, прозвучало, что убитый пал жертвой своих сионистских противников, что имеет место политическое убийство и полиции следует вести поиски в этом направлении.

Короткая эта фраза привела к необычайным последствиям.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

БЕСКОНЕЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ

— Вы читали хоть одну его строчку?

— Статьи, интервью. Весьма наблюдательные, но совершенно ошибочные в выводах. Добрый де Вриндт по уши погряз в стародавних временах. Всегда видел лишь еврея-одиночку, который просил о терпимости.

— Разумеется. Но я имею в виду не его политику. Я имею в виду его глубинную суть. Он ведь, говорят, был поэтом. Вам знакомы его стихи?

— Откуда. Кто читает по-голландски?

Собеседники исчезли в тени кустов и узких дорожек.

Была ночь следующего дня. Несколько чиновников и лидеров еврейской общественности собрались в доме доктора Ауфрихта, о котором мы уже упоминали. Ни один не приехал на своей машине, добирались на такси, на автобусе, многие пришли пешком; звездная летняя ночь манила прогуляться. Бодрящий ветер, благотворный воздух побудили их расположиться между

живыми изгородами и тонкими деревцами сада; за небольшим скромным домом он сплетал свои посыпанные гравием дорожки. Люди курили, пили сельтерскую с фруктовыми соками. Иные из мужчин в светлых костюмах накинули на плечи легкие пальто; женщины вскоре скрылись в доме — посмотреть на спящих детей и обсудить с госпожой Мирьям Ауфрихт сложные проблемы воспитания в этой стране.

Предстояло решить, надо или нет демонстративно участвовать в похоронах противника, покойного де Вриндта. Седой непримиримый Авраам Вилькомир высказался против. Широкоплечий, круглоголовый, в неглаженных брюках, он сидел, прислонясь к стволу невысокой оливы, отличавшей этот сад от прочих. (Тальпитот — совсем новый пригород; строительная компания нашла здесь лишь считанные старые деревья, когда приступила к возведению домов для чиновников.) В его светлых глазах отражалось пламя свечи, которая в стеклянном бокале горела ровно, не трепеща.

— Я не вижу причин менять нашу позицию касательно этого предателя. Арабские журналисты могут писать все, что им заблагорассудится, — разве вы намерены оглядываться на них? — Вилькомир был руководителем «Керенкамет», одной из крупнейших и влиятельнейших институций страны, которая на бесчислен-

ные пожертвования, крохотные и достаточно крупные, поступавшие со всех концов еврейского мира, приобретала здесь землю и переводила ее в общую еврейскую собственность, то есть передавала в наследственную аренду поселенцам и товариществам. Поголовно все иммигранты из России видели в нем лидера. Остальным его напористое упрямство зачастую мешало, однако ж и у них он пользовался уважением. Было ему за семьдесят, шесть десятков лет он работал на Движение, которое сформировалось в России задолго до Теодора Герцля.

— Мар* Вилькомир, — вставил хозяин дома, высокий, худой мужчина, черноглазый, в роговых очках, — рассмотрим вопрос чисто по-человечески. Убит лидер оппозиции — опустим убийство: лидер оппозиции погиб, скажем, в результате дорожной аварии. В любой стране мира депутаты правящей партии проводят его к могиле, в любой цивилизованной стране. Разве не будет простой добропорядочностью, если доктор Казанский и еще несколько человек пойдут за гробом от имени исполнительной власти?

— Что за сравнения, — буркнул старик, своей круглой седой бородой похожий на русского крестьянина.

* Господин (*иврит*).

А довольно молодой мужчина в высоких сапогах, с моноклем в глазу и в черной кипе неприязненно вскричал:

— Вы забываете, мы живем на Востоке! То, что в вашей лицемерной Англии именуют политической добропорядочностью, здесь трактуют как слабость, и, пожалуй, справедливо.

Хозяин дома, молодой доктор Ауфрихт, с безмолвной улыбкой посмотрел на говорившего, на его белую тужурку в обтяжку, на модного покроя бриджи.

— Талантливым журналистам надо бы всегда только писать, — дружелюбно заметил он. — Впрочем, вам-то участвовать вообще необязательно, хотя доктор де Вриндт когда-то принадлежал и к вашей партии — до того, как вы приехали сюда.

— Боюсь, в стране вас не поймут, — возразил молодой доктор фон Маршалкович, покраснев от досады. Он строил из себя ортодокса и принадлежал к числу идеологов радикальной буржуазной молодежи, молодых националистов, которые смотрели на арабов как на цветных туземцев, а в каждом англичанине чуяли политического интригана. — Нет, — для вящего подтверждения он хлопнул себя по колену, — мы участвовать не намерены. И не удивляйтесь, если legionеры выйдут на митинги протеста.

— Мы не боимся, — отозвался из темноты спокойный голос. Там, с трубкой в зубах, сидел доктор Гилель Казанский, довольно молодой представитель сионистской исполнительной власти. — Я видел доктора де Вриндта всего лишь два раза в жизни и никогда с ним не разговаривал, что вообще-то скверно, но вы ведь знаете, такова наша жизнь здесь — разные круги общения. Но хоронить его мы должны сообща. Давайте послушаем, что скажут рабочие. Ну, товарищ Меир? Как решит «Гистадрут»: участвовать или нет?

— Участвовать, — ответил тот, к кому он обращался, невысокий загорелый мужчина с живыми глазами и закрученными усами, из-под которых, точно рупор, торчала сигара. «Гистадрут», Всеобщая федерация еврейских трудящихся, как городских, так и сельскохозяйственных, был в стране огромной силой. На самоотверженности его членов почти в той же мере, что и на капиталах фондов, зиждилось возрождение Палестины. Казанский тоже вышел из ее секретариата.

Доктор фон Маршалкович сердито заворчал. Эти избалованные любимчики Движения, рабочий класс с его социалистическими учреждениями, коммунистическими поселками и жизненным укладом, с его вечной готовностью к соглашению с арабским народом, не пользовались симпатией у него и его друзей. Во-первых, профсоюз мешал созданию «здоровой экономи-

ки», а кроме того, со своими двадцатью тысячами членов оказывал сильнейшее влияние на подрастающую молодежь. Сектанты не от мира сего, думал он, не политики, они, и их Н. Нахман, и вся камарилья вокруг него, им место в Дганье или еще где-нибудь на Генисарете, но не здесь, в центре событий.

— Боюсь, вы в меньшинстве, — насмешливо отозвался другой моложавый мужчина, подходя к свече, чтобы закурить сигарету. Огонек осветил очки без оправы, широкий лоб, поредевшие светлые волосы.

— Мы привыкли, что университет ущемляет национальные чувства молодежи, — иронически заметил молодой «кавалерист». — Жаль только, что вы палец о палец не ударили, когда ваш прокуратор выслал нашего Петра Персица.

Петр Персиц, в прошлом офицер Еврейского легиона, писатель, знаменитый оратор, полгода назад был вынужден покинуть страну, поскольку его подстрекательские речи в конце концов дали правительству повод избавиться от него.

— Вы прекрасно знаете, господин фон Маршалкович, — без малейшего волнения проговорил Казанский, — что мы резко критиковали правительство за эту глупость...

— ...потому что в Европе Персиц мешает вам еще больше, чем здесь, особенно в Польше! — громко вскричал старый Вилькомир.

— И вы туда же, мар Вилькомир? От страха, стало быть, а не потому, что с нашей точки зрения высылка не есть аргумент? Мы не боимся Петра Персица ни здесь, ни в Польше, но в ту пору мы ничего не предприняли по вопросу о землях в Бейт-Шеане главным образом потому, что его бессильные угрозы прекрасно обеспечивали Политический отдел основаниями для действий. В самом деле, — неожиданно с горечью добавил он, — от вас, мар Авраам, требуется больше благоразумия. Персиц грозил англичанам — чем? Где у нас средства принуждения? Идеи, моральные ценности, практические дела. Наша сила зиждется на нашей работе в этой стране, на нашем библейском праве, на мандате Лиги Наций, Декларации Бальфура, доброй воле английского народа идти вместе с нами. Вы правда думаете запугать премьера Макдональда* речами нашего одареннейшего оппозиционного лидера или заставить британский МИД отказаться от его арабской политики, просто потому что митинги радикалов мечут громы и молнии по поводу нарушения слова? Конечно, legionеры притязают на землю здесь, в стране; разумеется, земли Бейт-Шеана превосходно подходят для реализа-

* Имеется в виду Джеймс Рамсей Макдональд (1866–1937) — английский политик, один из основателей Лейбористской партии; премьер-министр, в частности, в 1929–1931 гг.

ции этих притязаний. Всякий знает, что эти земли, отданные арабам, уже успели шесть раз сменить владельца и через три года, как и сейчас, останутся невозделанными, если мы в конце концов не купим их по дорогой цене. Но еврейский народ живет повсюду на свете, не только здесь...

— ...благодаря вашей ложной политике, вашей робости и скептицизму, — вставил Маршалкович.

— ...и большинство в стране принадлежит не нам, а арабам.

— Но мы могли бы стать большинством, давным-давно, если бы Англия выполнила свой долг. — На сей раз короткую речь политического чиновника перебил старый «крестьянин». — Вам же будет вполне достаточно снова и снова умело подчеркивать, до какой степени наши евреи суть всего лишь и в первую очередь местоблюстители для несчетных других евреев, которых мы как можно скорее доставим сюда.

— Верно, — закончил молодой собеседник безнадежный разговор, — то-то и оно, что «как можно».

— Университет благодарит господина фон Маршалковича за его добрый отзыв...

Стройный красавец-журналист, откинув горделивую голову, обернулся, вынужденный оставить Казанского, который тотчас скрылся в темноте.

— ...и постарается впредь неизменно его заслуживать. — С задумчивой улыбкой на лице перед ним остановился белокурый очкарик с окурком сигареты в зубах — доктор Генрих Клопфер, доцент философии. — У нас, скромных интеллигентов, — насмешливо продолжал он, — в голове не укладывается, как мы можем в Европе ратовать за нравственность будничной жизни, в том числе политической, чтобы здесь как раса господ играть роль эксплуататоров.

— О-о, вы не понимаете, — послышался слева смеющийся голос; мужчина в мягком пальто положил руку ему на плечо. — В Европе мы боремся против угнетения нас как граждан, здесь же — за наш престиж как семитов. — Глаза говорившего удовлетворенно блеснули из густой черной бороды, покрывавшей щеки. Сняв шляпу, он поочередно поздоровался со всеми присутствующими, попросил глоток лимонада и набил трубку: доктор Эли Заамен, по главному роду занятий инженер, во второй половине дня и по вечерам математик в Политехническом институте в Хайфе, проводил каникулярные недели в Иерусалиме, потому что на поездку в Европу или в Ливан ему не доставало денег. Он отдыхал в читальнях библиотеки, где и подружился с Клопфером.

— То есть вы все, кажется, более-менее решили присутствовать на похоронах господи-

на доктора де Вриндта? — проговорил доктор фон Маршалкович, между узкими бровями этого привлекательного молодого bruneta легли мелкие морщинки. — Ладно, как вам будет угодно. Только учтите, газеты непременно напишут: это участие означает протест еврейства против убийства еврея арабами. И вы этому не помешаете.

На секунду-другую повисла тишина. Все обдумывали, чем чреват такой внезапный поворот обстоятельств. В официальном сообщении о смерти лидера «Агуды» не было ни слова о личности убийцы; правда, в выражении «разбойное нападение» содержался намек на арабских преступников, потому что разбойники-евреи встречались только в Курдистане. Судя по городским хроникам, в Иерусалиме этим ремеслом занимались исключительно аборигены, сыны диких племен или сбившиеся с пути феллахи. Журналисту не запретишь писать то, что он думает, и на определенные газеты исполнительная власть влияния не имела. Появись эта фраза в прессе, она приравняет участие в похоронах к демонстрации, чего никому не хотелось; с другой стороны, это, пожалуй, воспрепятствует обострению разногласий в собственном лагере; нынешний момент требовал единства. Впрочем, напряженности существуют всегда и всегда улаживаются; сионисты их не опасались.

Беспокойство выказывал только доктор Ауфрихт.

— Не лучше ли в таких обстоятельствах все же остаться дома? — спросил он у доктора Клоппера, который в идеологических вопросах зачастую разделял его мнение. — А вы как считаете, господин Заамен?

Доктор фон Маршалкович с высокомерной насмешкой рассматривал противников, этих безвольных, мягкосердечных немецких и австрийских евреев, которых вконец смутил.

— Совет центральных держав заседает, — иронически произнес он тоном газетного заголовка, обращаясь к старому Аврааму Вилькомиру. (Он вправду уже забыл, что родился в Билитце, в австрийской Силезии, тогда как Эли Заамен был родом из белорусского Минска.) — При малейшем намеке на национальный жест вы даже от своих идеалов братства отказаться готовы.

— Успокойтесь! — Выпятив подбородок, доктор Казанский подошел вплотную к противнику, который невольно отшатнулся. — У нас еще не раз будет возможность платить за оконные стекла, выбитые вашим радикализмом, здесь и в других местах. Мы проводим де Вриндта к могиле.

Насчет состава делегации договорились быстро: Казанский от исполнительной власти, доктор Ауфрихт от Фонда заселения Палестины и

доктор Клопфер от университета. Национальный фонд делегата не послал, однако от открытых возражений воздержался, таково было последнее слово Авраама Вилькомира.

— Пора по домам, господа! Кто за прогулку, а кто предпочитает автобус? — воскликнул Эли Заамен, самый беззаботный. Жил он близко, гостил у Генриха Клопфера, чувствовал себя как отпускник, а вдобавок подружился с действительно очаровательной молодой женщиной, муж которой в настоящее время собирал в Британском музее, в Лондоне, свидетельства существования еврейских наемников в персидском войске царя Камбиса. Знаменитый папирус с нильского острова Элефантины, что в Верхнем Египте, указывал на это.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ночная прогулка

Эли Заамен и доктор Клопфер, оба чуть старше сорока, небрежной походкой поднимались вверх по улице, проложенной на склоне холма. Над бледной землей величественно вздымался купол небес, совершенно черный, усыпанный великим множеством, целыми легионами звезд.

— Уже совсем не такая, как в Европе, — сказал инженер, кивая на Большую Медведицу. Знакомое созвездие стояло на голове, устремив медвежьи лапы, или колеса Повозки, к зениту.

— Неудивительно, раз Полярная звезда смещается к горизонту, — отвечал Генрих Клопфер. — Вы так значительно говорите об этом, Заамен.

Сейчас они разговаривали по-немецки, люди охотно сбиваются на родной язык.

— Что бы вы сказали, если бы этого де Вриндта убил вовсе не араб? — медленно произнес Заамен. — Если бы речь шла-таки о самом настоящем политическом убийстве?

Генрих Клопфер замер как громом пораженный, левая нога стояла на тротуаре, куда он как раз хотел подняться.

— Кто смеет говорить такое?

— Я, потому что смею так думать. А вы, друг мой, вы тоже посмели так думать и промолчали на совещании, что называется, просто из патриотизма? — При свете звезд он испытующе всматривался в узкое, грушевидное лицо своего спутника и хозяина.

— Как вы пришли к столь ужасным предположениям? — в свою очередь спросил Генрих Клопфер. Остротой ума он превосходил Заамена, но инженер, бородатый, с худым скуластым лицом, излучал огромную жизненную энергию, которой он мало что мог противопоставить, тем более сейчас, когда его вопрос кинжалом пронзил сердце. Политическое убийство? В этой стране? Евреи убили еврея? Ни один из тех людей, что только что сидели на совещании, — уверенные, рассудительные, не избегающие ответственности — даже не намекнул на подобный кошмар. Ради революционных идеалов или в Великой войне евреи убивали, но здесь, в столь рискованной ситуации?.. Все это и прочее он попросил инженера принять во внимание и взять свое предположение обратно. Ни Персиц, ни его сторонники политическое убийство не одобряют.

— Вы не разбираетесь в наших евреях, — отвечал Замен. — Мы ведь знаем, как основательно перечекали нас страны, откуда мы родом. Вы думаете по-немецки и о немецких евреях. Я думаю по-русски и о русских. Наши молодые парни наносят удар, если им кого-либо выставляют предателем.

Генрих Клопфер испуганно кивнул. Подмечено правильно, сказано тоже. Что он знал об истинных силах в душах тех, кто вырос под гнетом царизма и в войну? Разница между немецкими, австрийскими, русскими, британскими евреями чувствовалась и в Иерусалиме, вплоть до могилы; а уж чего тогда ожидать от различий между северными и восточными евреями? Не будь детей — грядущее выглядело бы весьма сомнительно. Но дети росли на улице как говорящая на иврите орда — невзирая на слои, классы, происхождение и род занятий; они сплетали сеть единомыслия, единых идеалов, единого упрямства и единого таланта по всей стране, обеспечивая существование народа в грядущую эпоху.

Двое мужчин шли уже по вершине холма, оставив позади дом, где в Иерусалиме жил Генрих Клопфер. Но в ночные часы воздух так бодрил свежестью, днем в эту пору года дышать было нечем; приходилось менять привычки — утром дремать часок-другой, а главный сон пе-

редвигать на время меж двенадцатью и пятью, если получалось. Эли Заамен в этом преуспел.

— На войне я приучил себя спать в любое время дня. А когда не имеешь ни жены, ни детей, это никогда не составляет труда.

— Вы были на войне? — с удивлением спросил Клопфер. — В какой армии? Разве вы не приехали сюда еще в тринадцатом, во времена султана?

— Верно, — рассмеялся Заамен. — Тогда здесь, в Иерусалиме, существовала большая русская колония, монастыри и попы, которые жили себе припеваючи, Русское подворье еще напоминает об этом. Конечно, я прошел войну в российских войсках, как вольноопределяющийся, при условии, что сражаться буду только с турками. Мы назывались Кавказской армией и взяли Эрзерум; единственная российская армия, не потерпевшая ни одного поражения. Замечательно. Я дослужился до поручика, а это кое-что значило. Мы мстили за армян*, понимаете, и были превосходными войсками. Только не удивляйтесь моей восторженности. Я милитарист, просто потому, что жизнь как таковая есть бесконечная потасовка, и тут я предпочитаю быть наверху.

* Имеется в виду месть за так называемую младотурецкую резню, истребление армян турками (1915), в результате которого погибло 1,5 млн армян.

Генрих Клопфер покачал головой.

— Жизнь, дорогой мой, в той же мере договор, обоюдное приспособление, стремление помогать, уважение потребностей соседа. В ней достаточно простора, сколько угодно возможностей развития, только не следует слишком быстро терять терпение.

Эли Замен хлопнул его ладонью по плечу:

— Отлично! Но нам, российским евреям, требовалось слишком много терпения, мы его израсходовали, теперь в нас одно только нетерпение. Вот так чувствовал парень, который застрелил беднягу де Вриндта. Я, думал он, наконец-то приехал сюда, чтобы тоже что-нибудь построить для нас, для евреев, а этот скорпион будет ползать среди нас и кусать за ноги? К черту его — ба-бах! Вот он лежит! Вот так, говорю вам, вот так просто он думал, и потому завтра мы отправимся на похороны.

— Но ведь это ужасно, — Генрих Клопфер даже вздрогнул, — уму непостижимо. Нельзя дырявить людей, чтобы они истекали кровью, и успокаивать свою совесть идеалами строительства. Человек-то не скорпион.

Улица шла по гребню холма. Справа строящиеся дома говорили о том, что и там готовят жилье для евреев. Прямо перед ними из дымки испарений вставала луна, кроваво-красная, огромная. Мужчины глаз не сводили с жутковатой картины.

— Вон там лежит Трансиордания, — мечтательно произнес Заамен, погруженный в созерцание потухшего небесного тела, которое с давних пор производило на него глубокое впечатление. — Трансиордания — ловко придумано. Заполучи я сюда три миллиона евреев из России и сотню тысяч ружей, уж я бы всем показал, можно ли закрыть нам доступ на территорию, где похоронен наш вождь Моисей и в песках пустыни лежат кости наших предков.

Генрих Клопфер насмешливо улыбнулся. Безосновательный запрет на иммиграцию евреев в Трансиорданию действительно существовал, а граница, проведенная вдоль Иордана, была столь же произвольна, как если бы французам отдали левый берег Рейна. Однако наполеоновский жест воинственного друга, пожалуй, все-таки хватил слишком далеко в глубины истории.

— Как давно это было? — кротко спросил он своим звонким голосом. — Во времена фараона Мернептаха? Примерно три с половиной тысячи лет назад?

Эли Заамен тоже невольно рассмеялся.

— Верно, — сказал он, — примерно так. Но, знаете, для меня все это не поблекло и не стерлось. Оно живо, как изваяния упомянутого фараона и его отца в Каирском национальном музее. Мне часто казалось, что, записывая Библию, ребята уже не помнили точно, над чем мы тог-

да трудились. Города для запасов? Пифом и Рамсес? Весьма маловероятно. Думаю, скорее уж мы строили пирамиды, а я уже тогда был инженером и с одобрением отнесся к тому, что Мойсей убил египтянина. Политическое убийство на заре нашей истории.

Как Ромул и Рем, испугался Генрих Клопфер, как Каин и Авель. У истоков каждого государства — братоубийство.

Роса увлажнила им плечи и волосы.

— Вот так просто все происходит, — наконец сказал Эли Заамен, — как восход луны. А знаете, почему такое случается и теперь? Мы становимся нацией, вот почему. С отдельными своими детьми нация обращается чертовски сурово — позволяет во множестве их убивать, позволяет им нищать, умирать от голода; возьмите мировую историю, новейшую часть. В сравнении с индивидом нация ведет себя низменнее, скажем прямо: подлее, намного более жестоко, бездуховно, варварски, руководствуясь инстинктами, проявляющимися весьма грубо. Но это лишь доказывает: здесь есть кипучая кровь, полноценная движущая сила, есть и множество задач, чтобы ее цивилизовать.

Снизу, из еще жарких низин, прилетел ветер, принес запах горящего верблюжьего навоза, который распространяется от любой арабской деревни. Одна из них как раз притулилась внизу,

на дне ущелья, а там, где луна круглым клубнично-красным щитом только что отделилась от скалистого гребня, раскинулось плоскогорье Моав, уже за пределами Палестины.

— Но тогда как раз и стоит стать нацией, — с горечью сказал Генрих Клопфер.

— Ах, — засмеялся Заамен, — вы, немецкие евреи, привозите сюда чувства, которые делают вас небоеспособными. Стоит ли, нет ли — кто об этом спрашивает? У нас нет выбора, это и есть наше оправдание. Где-нибудь нам необходимо составить преобладающее большинство со своими жизненными законами, или мы мало-помалу исчезнем, а с нами — особенная порода людей, утратить которую очень жаль. Знаете, если кто-либо живет с таким удовольствием, как я, он тем самым опровергает весь антисемитизм и все сомнения.

Генрих Клопфер почувствовал себя весьма озадаченным. Ему, увы, не доставляло удовольствия жить в мире, сложившемся после войны, бездуховном, полном насилия, изобилующем проблемами, решение которых зрелому уму казалось легким, но которые в упрямой реальности не желали рассасываться.

— Мне не нужно ничего, кроме преобладающего большинства, вот и весь мой национализм. Согласись мы тогда на Уганду, сейчас миллионов шесть евреев сидели бы меж Суданом и Тангань-

икой, и Африка бы о них услышала. Так было бы намного проще, чем в этой чертовой Палестине с ее тысячами мелочных разногласий меж арабами, церквями, великими державами и религиями, не говоря уже о нашей еврейской сварливости.

В 1902 году английское правительство предложило сионистскому лидеру доктору Герцлю для расселения евреев североафриканскую Уганду. Герцль, который в силу оскорбленной любви ко всему немецкому стремился разрешить еврейский вопрос как можно скорее, был склонен принять это предложение. Проект рухнул из-за сопротивления российских евреев и их любви к Сиону. Они слышать не желали ни о чем, кроме Палестины, земли, которую, как они верили, читая молитвы тысячелетней традиции, предназначил евреям сам Бог.

— Сейчас я кое о чем проболтаюсь, — сказал Эли Замен, доверительно взяв Клопфера под руку, — я вправе говорить о политическом убийстве. Мой отец погиб в минском погроме девятьсот пятого года, от сабли полицейского офицера, после того как своей железной тростью в кожаной оплетке проломил голову хулигану. Мой отец был сущий медведь. — Он с нежностью и гордостью засмеялся. — Я только успел увидеть, как он упал. Из револьвера я подстрелил одного из погромщиков, когда тот набросился на ста-

рую женщину и маленького мальчика-еврея, такого же, каким когда-то был я сам. Мне тогда уже сравнялось тринадцать или четырнадцать, я отделался сломанной ключицей и разбитой головой. В Германии я ходил в школу, в Мысловице, упомяну этот достойный пограничный городок, я и мой младший брат Лео. Потому-то, понимаете, я и не хотел в войну сражаться против Германии, а поскольку начало войны застало меня в Иерусалиме, это удалось устроить. Лео, мой младший братишка, — знаете, что он сделал, когда узнал о смерти отца и моих ранениях? Он прочел слишком много книжек про индейцев, ступил на тропу войны против России, поклялся отомстить кровью за кровь, как бедунин. Однажды ночью переплыл пограничную речку Пшемшу и заколол казака, невинного агнца из пограничной полиции, который странным образом стал для него воплощением звериного духа царистской ненависти к евреям, — как, я уже не помню. История бессмысленная и глупая, дело так и не раскрыли, убийство свалили на контрабандистов спиртного, ведь пограничные патрули главным образом за ними и охотились. Жестокость порождает жестокость. Что тут скажешь? Семь лет мой брат носил эту историю в себе, и год от года она тяготила его все больше — до самой войны. Позднее, сражаясь на стороне Германии, он видел столько убитых, что

перестал терзаться из-за убитого его рукой, а потом и сам тоже погиб. В семнадцатом, в Шампани, в силезском полку, вместе с одноклассниками и ровесниками, так что от всей семьи остался один я, если у меня нет где-то детишек, про которых я ничего не знаю. Но и от них семье не было бы проку. — Он коротко вздохнул. — Здесь у меня большие трудности, знаете ли; я сделал проект и чертежи турбины нового типа, но не нахожу средств, чтобы построить и опробовать модель. Наверно, сперва надо съездить в страну, где есть водопады, и до поры до времени запатентовать эту штуку как детскую игрушку.

Генрих Клопфер неожиданно ощутил огромную усталость. Не по душе ему российские евреи. Этот вот бьется со всем миром и всегда знает, как быть! Подобной энергии можно только позавидовать.

— Пойдемте-ка спать, — сказал он. — Вообще, не стоит бродить здесь столь немногочисленной компанией; иной раз случаются нападения.

— Люди в деревнях живут в ужасающей нищете, для них это своего рода дополнительный заработок, — кивнул Заамен. — Хотя терпеть такое, конечно, нельзя. Я провожу вас домой. А потом еще немного погуляю. Меня ничуть не удивляет, что после всей этой горячечной суеты арабы взбудоражены. Что-то носится в воздухе, говорю вам, наверняка будут стычки. Кста-

ти, я бы не прочь поучаствовать. И тем не менее стоит предупредить англичан. Зачастую попадает людям, которые, не в пример нам, к этому не готовы. — Он засмеялся, неожиданно замер. — У вас ведь есть в университете английские коллеги, британские евреи. Они и с вами общаются так же мало, как с нами? Наверно, нет. Скажите им. Пусть предупредят земляков при губернаторе. Господа чиновники, вероятно, их выслушают, хотя и не поверят. Поверить — да что вы! Чиновники — самые странные рыбы, что когда-либо плавали посуху. Предупредите их, скажите, инженер Заамен дает руку на отсечение, что-то носится в воздухе, арабы, мол, при ближайшей возможности наверняка перейдут в атаку, — чтобы они потом не удивлялись. Доброй вам ночи! А мне хочется еще подышать, никак не могу надышаться!

Генрих Клопфер подал ему свою узкую руку, почувствовал горячее ответное пожатие.

— Желаю хорошо повеселиться! — сказал он и сам испугался собственного подсознания. Молодая, вправду очаровательная госпожа Юдифь, супруга находящегося в отъезде приват-доцента, тоже проживала в Тальпиот.

КНИГА ТРЕТЬЯ
МИРОМ ПРАВЯТ УДАР
И КОНТРУДАР

Меж морем и пустыней свет сияет,
Сверкает карст — кора пустой земли.
Пусть мела чистота наш взор ласкает,
Но звездный дух давно угас вдали.
Из четверостиший де Вриндта

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Последний сигнал Нельсона

Инженер Заамен в большой тревоге выскочил из такси, взбежал вверх по лестнице, позвонил к госпоже Юдифи Каве — в девять утра, на другой день после похорон де Вриндта. Однако во время похорон разыгрались сцены, каких Иерусалим не видывал с войны. После короткой и острой заметки в газете «Га-Эрев» огромное участие гражданских евреев в похоронной процессии волей-неволей было воспринято как политическая демонстрация, направленная против арабского населения города. Полиция перехватила набухающий людской поток и, сопровождая его, решительно оттеснила с Яффской дороги и из других

частей Нового города, а под конец — полицейские почти поголовно арабы или, по крайней мере, мусульмане — пустила в ход резиновые дубинки, когда демонстранты отказались сворачивать в боковые улицы. Английский чиновник в штатском, с длинным лицом, причесанный на прямой пробор, рекомендовал руководителям шествия не препятствовать полиции; один из его агентов, по-видимому черкес, с голубыми глазами и козлиной бородкой, был готов поклясться, что у него на глазах евреи грозили полицейским кулаками и обзывали их пособниками убийцы. Такие вот сцены безумной паники, ярости и смятения сопровождали Ицхака-Йосефа де Вриндта на его пути к могиле.

На кладбище удалось провести лишь короткую церемонию, которая то и дело нарушалась; гул приглушенных взволнованных слов почти перекрывал и без того ослабевший от слез голос рабби Исраэля Лёбельмана из Хеврона, заместителя Цадока Зелигмана. Сам же рабби Зелигман — и не только из-за большой физической немочи — остался в стороне от похорон, в сокрушении сидя на полу своей комнатки. Ведь сегодня ночью начиналась годовщина разрушения Храма, девятое число месяца ава — этот скорбный для народа день тысячелетиями сопровождался строгим постом. Плачи Иеремии на сей раз будут петь поистине израненной душой.

Кроме того, вчера вечером газеты сообщили: согласно решениям лондонского Коронного суда, арабы могли возобновить строительные работы у Западной стены Храмовой площади — реальные «строительные изменения», тогда как евреям в свое время, помнится, запретили даже установку бумажной ширмы, размещение светильников, сидений, ковчега для Торы... По этим трем причинам, стало быть, Заамен промчался вверх по лестнице, нажал на кнопку звонка и долго не отпуская.

Молодая женщина открыла сама. С прислугой в Палестине издавна обстояло непросто; девушки-репатриантки — их называли *халуцот* — предпочитали городским домам сельское хозяйство; убирать грязь за *бургоним*, то бишь за горожанами, говорили они, нет уж, покорнейше благодарим. Поэтому в отсутствие мужа госпожа Юдифь обходилась помощью приходящей уборщицы-сефардки.

Закрыв дверь, Эли Заамен заключил в объятия смуглую девичью фигурку.

— Не так бурно! — шутливо оборонялась она, отбрасывая назад черные волосы и сверкая белыми зубками. — С каких пор даму навещают в такое время? Это не домашняя пижама, а самая настоящая одежда для сна, я только что встала. Заходите, Эли Абрамович. — Госпожа Юдифь тоже родилась в России.

— Не заставляй меня терять голову, — попросил он, — я должен немедленно выехать в Хайфу, и ты поедешь со мной. Здесь наверняка будут беспорядки; что творилось вчера, ты уже знаешь. И что в Тель-Авиве шесть тысяч молодых людей протестовали против решения по Храмовой площади, тоже. Сегодня они устраивают обычное для девятого ава шествие к Стене Плача, в пять часов, когда арабский Сук кишит покупателями и прохожими. Добром это не кончится. Надо благодарить Бога, если не прольется кровь.

Юдифь нахмурила прямые брови. Она сидела, сложив руки на коленях, обдумывала положение. Сук — это базарные улицы между Яффскими воротами и Храмовой площадью, западной границей которой была Стена Плача. Протискиваясь по этим узким улочкам, демонстрация оттеснит всех, кто к ней не относится, под арки, в подъезды домов, в боковые переулки. Взвинченные обитатели арабского Старого города нипочем такого не потерпят — блеск кинжалов, свист палок...

— И никто не может прекратить эту нелепость?

— Поговори с Людвигом фон Маршалковичем, с господином журналистом. Он тебе объяснит, что расе господ положено пространство и сброд наверняка попрячется. Парни хотят развлечься, а англичане вмешиваться не станут.

Fair play*, понимаешь ли. Они, разумеется, выставляют полицейских, но мне здесь что-то стало неуютно, а ваш Тальпиот расположен довольно уединенно.

Что правда, то правда. Тальпиот располагался на внешней окраине зоны новой застройки Иерусалима, в добрых десяти минутах езды на автобусе от города, за долиной Хином и долиной Кедрона с их вспыльчивым арабским населением.

— Я бы и не подумал уезжать, — сказал он, решительно глядя на нее (так трудно не схватить в объятия это прелестное существо!), — если бы здесь были мои рабочие и ребята из Политехнического. Но здесь я пока что почти чужой, должен сперва себя показать. Зато в Хайфе меня знают и пойдут за мной хоть в ад. И если здесь пустят в ход револьверы, эхо прокатится по всей стране — подстрекательства последних месяцев свое дело сделали, а кроме того, все обезумели от этой треклятой жары. Я невысокого мнения о провокациях, — добавил он. — И остался бы равнодушен, если б этого юнца Маршалковича на ближайшие дни засадили под замок. Но коль скоро начнется заваруха и придется делать выбор «или—или», без меня, конечно, не обойтись.

— У вас есть оружие? — спросила она, с удивлением глядя на него.

* Честная игра (англ.).

— Где взять его здесь, я не знаю, а вот в Хайфе знаю очень даже хорошо. Ты девочка расторопная, двадцати минут тебе на сборы хватит. Мне надо еще предупредить Клопфера. Ему здесь нечего делать. Благородный малый, но в бою... — Он пожал плечами. — Пусть едет в Мигдаль к сестре, ей понадобится мужская защита.

— И она ее получит, — вставила госпожа Юдифь. — Кстати, какого вы мнения обо мне? Нет такой опасности, чтобы я очертя голову бежала отсюда, как растрепанная девчонка, не приведя себя в порядок. Мне нужен по меньшей мере час. И где я буду жить в Хайфе?

Он восхитился ее хладнокровием.

— Где-нибудь, в безопасности и без помех. Мы займем Кармель, и город будет под нашим контролем. У нас достаточно оружия и рабочих из порта, с маслобойни, цементной фабрики, мыловарни и, конечно, со строительства.

— А что будет потом? — спросила она, ведь, как всякая женщина, думала о будущем. — Нам же опять придется жить с «ними».

Он мрачно кивнул.

— Кто больше меня желает, чтобы все миновало благополучно! Разумеется, нам придется жить бок о бок с «ними». И будем жить, они и мы вместе — это и есть страна. Но сперва им надо это понять.

— Как и многим из наших, — закончила она.

— Умница! — Он встал, взял ее лицо в ладони, поцеловал, направился к двери. — Кстати, надо признать денег у Клопфера. — Он опять оглянулся. — Без денег в кармане никак нельзя.

— У меня есть немножко, — крикнула она ему вдогонку. — Через сорок пять минут!

Приват-доцент доктор Генрих Клопфер как раз собирался ехать в библиотеку, которая находилась в конце полукружия гор, на Скопусе. Наморщив лоб, он выслушал сообщения своего гостя. Жаль так быстро его потерять, он-то рассчитывал на более продолжительные беседы. В Мигдаль он пока не поедет. Его сестра — взрослый человек; в случае чего она его вызовет. По телефону можно в течение нескольких минут связаться с любой точкой маленькой страны. Дороги могут стать ненадежными? Шофер-еврей уж как-нибудь проедет. Ни под каким видом он, Клопфер, не покинет город без крайней необходимости. Именно сейчас очень нужны люди, готовые и способные напрячь все силы души и ума, рискнуть жизнью ради взаимопонимания. Кто будет сдерживать студентов, несмотря на каникулы, когда преподаватели заняты своей личной жизнью? И вообще, Генрих Клопфер пока что не верил тревожным слухам. Прямо сейчас расспросит кой-кого, кто, без сомнения, настро-

ен благожелательно и знает, что к чему. Заамен может спокойно присесть на минутку, выкурить сигарету, послушать.

Генрих Клопфер полистал записную книжечку, снял трубку, назвал на иврите номер. Телефонистка вдруг перестала понимать иврит. Ответила по-английски, попросила повторить номер на английском. Клопфер снисходительно усмехнулся; его лицо хорошеет, когда на нем написано такое превосходство, отметил Заамен, глянув на часы. Клопфер повторил номер по-английски. Ему ответили. Клопфер назвал свое имя и должность в университете, попросил связать его с капитаном Эрмином. На лице его отразилось замешательство. О, как жаль, сказал он. А когда мистер Эрмин вернется? Неизвестно? Очень жаль. Нет, спасибо, он хотел поговорить именно с мистером Эрмином и перезвонит еще раз.

Неудачно. Офицер полиции, которому он звонил, уехал из города по служебным делам. Он бы сумел предотвратить многое, к его предостережениям власти наверняка бы прислушались. Теперь придется наводить порядок без его посредничества. Он, Генрих Клопфер, немедленно отправится к одному из лидеров умеренных и просвещенных арабских граждан, к врачу, доктору Барлааму. Горячим головам надо противостоять сообща и энергично. Неудивительно, что инженер Заамен в ответ на телеграмму своего

предприятия прервал отпуск. Деньги? Конечно. Двадцати фунтов достаточно?

Эли Заамен поблагодарил, двадцати фунтов даже более чем достаточно. Он положил банкноты в нагрудный карман, теперь пора быстренько собрать чемодан. Он еще увидит Клопфера перед отъездом? Может, подвезти его на машине?

Но Генрих Клопфер считал, что каждая минута на счету. Если выйдет не откладывая, он успеет на автобус и уже через четверть часа будет у арабского лидера. Так что до свидания.

Двое мужчин, такие разные, пожали друг другу руки, с симпатией посмотрели друг на друга.

— *Judaea expects every man to do his duty**, — сказал Генрих Клопфер, повторяя знаменитый трафальгарский сигнал Нельсона.

— Каждый по-своему, — серьезно ответил Эли Заамен. В разговоре с Юдифью он был несправедлив к этому человеку. Хорошо, что хладнокровные умы, как он, присутствуют именно там, где грозят бои.

Шофер, который вез из Тальпиот в центр господина и даму, чемоданчик и чемодан, был не готов ехать в Хайфу. Но его фирма этот рейс ко-

* «Иудея ожидает, что каждый исполнит свой долг» (англ.) — перифраз знаменитого приказа адмирала Нельсона, отданного в сражении при Трафальгаре (1805): «Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг».

нечно же упустить не должна. Собственно, не фирма, а товарищество шоферов; через пять минут пассажиров заберет более вместительная и подходящая машина — красивый длинный американский автомобиль. Багаж ждал на тротуаре, есть время купить кое-что из еды. Шоферы торговались; на этом месте сходились три дороги, люди и экипажи кишмя кишели; зеваки изучали киноафиши. Несколько бедуинов мрачно смотрели на толпу. Они держались посреди улицы, чтобы не задеть приезжих чужаков. Для них это были русские; помимо прочих скверностей они привезли с собой холода минувшей зимы, когда в Иерусалиме выпал снег — снег! Эти люди в кожаных куртках, в кепках, с манерами господ, все сплошь русские, сторонники евреев. Сами евреи выглядели по-другому. На висках у них локоны, как у женщин, ходят с опаской, молятся, с такими противниками можно справиться играючи.

Шоферы договорились. Один из них отошел в сторону, к краснощекому парню с сонными голубыми глазами, в синей блузе и в обмотках.

— Оказия для тебя, товарищ, — сказал шофер. — Поговори вон с тем человеком, он инженер из Хайфы. Если он не против, я тебя прихвачу.

Парень подошел к чернобородому мужчине, поздоровался, вежливо объяснил: он недавно в стране, здесь работы не нашел, а друзья в Хайфе

его устроят. Не возражает ли господин, если товарищ шофер подвезет и его?

С некоторым удивлением Эли Заамен смотрел на скромного парня. С виду крепкий, во всяком случае хочет работать. С другой стороны, он бы предпочел остаться с Юдифью наедине. Впрочем, им еще хватит времени друг для друга. Евреи должны помогать евреям, да и лишняя пара рук в критической ситуации кое-что значит. Численное соотношение евреев и арабов в Хайфе значительно менее благоприятно, нежели здесь.

— Несите свое добро, — сказал он. Вещи лежали в шоферской конторе. — Вы из России?

Нет, парень родом из Южной Польши, из Проскурава, что в Подолии.

— А вы неплохо говорите на иврите. Сколько времени пробыли в стране?

Краснощекий парень обрадовался похвале. Он учил иврит дома, в языковых кружках и когда получал сельскохозяйственную подготовку. Но работать готов и на фабрике или на дорожном строительстве, адский труд, тяжелейшее испытание для европейца в палестинском климате. Он понравился Эли Заамену — добрая косточка. Госпоже Юдифи он тоже понравился, когда сдержанно поздоровался и сел рядом с шофером.

— Вы без головного убора? — спросила она. — Так нельзя.

Молодой человек поблагодарил, достал из потрепанного серого рюкзака (это был весь его багаж) черный берет.

— Стало быть, в Хайфу. Как поедем?

Шофер — рука на руле, нога на педали газа — обернулся к инженеру.

— Самой короткой дорогой? — ответил он вопросом на вопрос.

Эли Замен смотрел на желтоватое лицо, спокойные черные глаза, круглые дуги бровей. Самая короткая дорога вела через Самарию и до Кфар-Йехезкеля по арабской территории. Ага, подумал он, у парня хорошее чутье.

— Разумеется, самой короткой, — сказал он.

В Тулькареме, на перекрестке дорог, пришлось остановиться следом за другой машиной. Солнце обрушивалось вниз тяжелым грузом расплавленного металла; камни справа и слева сияли слепящим светом. В тени домов нерешительно собирались недружелюбные мужчины. С передней машиной случилась авария, водитель хлопотал у открытого радиатора, в котором кипела вода. Свежей воды не принесли, где колодец — не показали. В результате дорога, которую в этом месте как раз ремонтировали, оказалась перекрыта. Третья машина, из Хайфы, медленно приблизилась, остановилась; водители вышли помочь. С переднего сиденья хайфской ма-

шины послышался оклик. Парень, который ехал с ними, повернул голову, махнул рукой в ответ. Невысокий молодой человек с густыми черными бровями на загорелом лице быстро подошел, пожал руку вышедшему из машины парню, держал ее в своей, многозначительно посмотрел на него; словно с чем-то поздравил, подумал Эли Заамен. Оба перелезли через кучи камней, устроились в сторонке.

Инженер с усмешкой наблюдал за их серьезнейшим разговором о незатейливых вещах, ну что уж такого важного могли обсуждать эти двое новичков? Жестикуляция делала разговор ясным, как у двух неаполитанцев. Чернявый крепыш протянул руку, ожидая что-то получить; деньги, конечно, подумал инженер. Второй с сожалением пожал плечами, кивком указав в ту сторону, откуда они приехали.

— Деньги у него в Иерусалиме, — шутливо сказал Заамен Юдифи; усталая и измученная жарой, в ответ она лишь слегка нетерпеливо передернула плечами. Что до нее, то она бы с удовольствием продолжила путь. Кругом слишком много камней, метательные снаряды, которыми удобно забросать отъезжающие автомобили, и здешние арабы вправду внушали тревогу, их все больше подходило из окрестных улиц, в основном подростки, а подростков ничто не остановит.

К счастью, одна из женщин, с открытым лицом, принесла на голове большой кувшин с водой. Попросила за него пять курушей. Шофер предложил ей два, да и то лишь по доброте душевной, чтобы она купила детишкам чего-нибудь вкусенького к празднику — кунжутных пирожков или медовых лепешек. Женщина смотрела невозмутимо, взяла монету. Радиатор перестал шипеть, пил воду как измученная жаждой лошадь.

Меж товарищами речь, конечно, шла об оружии. Краснощекий блондин его с собой не взял. Он же не дурак. Вот и спрятал его в Иерусалиме и подробно описал владельцу, в каком месте. Перед воротами Девы Марии, которые ведут на Храмовую площадь, дорогу окаймляют стены. В правой стене есть отверстия, похожие на амбразуры, довольно высоко. В четвертом лежит браунинг, довольно глубоко, завернутый в газету и прикрытый камнем. Над этой дырой растут пыльные кактусы, ошибиться невозможно.

Чернявый крепыш с важным видом сказал, что все, мол, в порядке: собирался посетить в Иерусалиме его, стрелка, ну а теперь заберет там пистолет. В ближайшие дни ему цены не будет, так что бесплатная поездка из Хайфы в Иерусалим и обратно — сущий пустяк.

— Шломо передает тебе привет. Он пока что плохо себя чувствует, вообще-то хуже прежне-

го. Ему все-таки пришлось лечь в больницу, мы боимся, он с этим чересчур затянул. Я нашел работу в каменоломне, нетяжелую, но малопривлекательную. Там есть несколько совершенно несносных товарищей, настоящие большевики, которые за Москву. Я им сказал, что мне больше нравятся социалисты-революционеры, и с тех пор они на меня обозлились. Ладно, до свидания, пора ехать! — Он радостно махнул рукой, поспешил на свое место и на бегу крикнул: — Разве Эрец-Исраэль не замечательная страна?

Машины разминулись, та, что потерпела аварию, тронулась вперед, дорога была свободна. Полетел камень, брошенный еще не очень всерьез, угодил в багажник последней машины, железо задребезжало.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Взрыв

В Иерусалиме взрыв беспорядков, очаг — Храмовая площадь, священная территория. Из ворот в Стене Плача, вновь открытых, на еврейскую святыню выплескиваются фанатики-мусульмане, подмога из Хеврона и Наблуса. Под водительством шейхов Аль-Аксы они разбивают светильники, ломают и сжигают попитры, рвут молитвенные покрывала, избивают шамеса, синагогального служку, который не успел спрятаться. Целыми днями они наводняют Старый город — отсюда побои, выстрелы, стычки, нападения на еврейские кварталы и предместья, раненые и убитые. С речами и плакатами их вожди проехали по стране; и вот изготовлены дубинки, утыканные гвоздями, как в мировую войну, полиция введена в заблуждение: мирные демонстрации она разрешила. Чувству, что сотрудничаешь с беспристрастной мандатарной державой, нанесен тяжелый удар. Порядок защищают восемьдесят шесть белых солдат; нель-

зя, чтобы их избивали. Вызваны несколько сотен солдат трансйорданской пограничной кавалерии, а между тем уходит драгоценное время, течет кровь... Правительство — где оно? Верховный комиссар в отпуске, как и многие чиновники, кругом заместители, что приводит к противоречивым приказам. Сначала срочно ставят под ружье уличную дружину из четырех десятков евреев, люди надежные, британцы и прочие; но затем, после того как они несколько дней делом доказывали свою нужность, их позорно разоружают на публичном параде, а одновременно вручают экипировку арабским резервистам пограничных частей. Иначе обстоит с молодыми теологами, сорока оксфордскими студентами-христианами. Они только что объехали колонии-поселения, восхищаясь достижениями евреев; теперь они надевают нарукавные повязки, берут под мышку ружья и сопровождают транспорты, охраняют улицы и здания, обеспечивают защиту тем, кто по воле властей сам защищаться не должен.

Всюду происходят поразительные события, страшные, героические. Арабские мужчины из деревни Сурбахр провожают в Иерусалим друзей-евреев, которые прятались у них, а на обратном пути их расстреливает британский патруль. За убийство евреев неизвестными арабскими преступниками мстят кровью — убийством

арабских семей неизвестными еврейскими преступниками. Ученого британского еврея, который на доходы от своего состояния посылал смывленных молодых арабов в университеты и страстно работает над подъемом духовной жизни своих мусульманских сограждан, собственный его араб-шофер заводит на автомобиле в гущу вооруженной демонстрации, где он получает удар кинжалом в сердце; сидящего рядом секретаря спасает только тарбуш на голове. Евреи-рабочие защищают мечеть от еврейских громщиков, арабские женщины укрывают еврейских стариков от ножей арабских парней. Гражданская война во всей ее неразберихе, когда можно ожидать чего угодно; она вспыхивает и снова гаснет, то здесь, то там, дни, порой часы, а где-то и недели. Так или иначе, пульс страны бьется с перебоями, дыхание перехватывает: под британским управлением, добропорядочная страна, а теперь вот повсюду убийства, драки, грабежи и поджог!

Стрельба у Дамасских ворот, толпы вооруженных феллахов врываются через них в квартал еврейских ремесленников. Тут и там они встречают сопротивление — стычки с применением кинжалов, дубинок, пистолетов, грабежи, а затем пожар, пожар в летнем Иерусалиме. В других кварталах перепуганные обитатели спешно баррикадируются, трезвонят телефо-

ны: полиция, полиция! Но полиция не является. Она ни к чему не готова, не поверила множеству предупреждений, а теперь в тесные улочки Иерусалима проникнуть ох как непросто. Она занята на пожаре, вместе с огнеборцами. Цистерны отдают воду нехотя, небольшой водопровод римских времен тоже далеко не достает. А в Новом городе, за стеной, нападают на еврейских мужчин, брошенные ножи пронзают спины, гремят выстрелы, бегут и падают прохожие. Из ближних деревень, знаменитых прежним разбоем, из Колонии и Липты, подтягиваются к городу орды обычно мирных феллахов, теперь готовых убивать, хватать добычу. Окрестности Иерусалима гудят, рокочут, кипят. Долины за Тальпиот грозят новому поселению опасностью; оно расположено слишком уединенно. Настал день — пришельцы будут сброшены в море; земля встряхнется, и полетят они в воду, как насекомые со шкуры собаки.

Да, однако все не так-то просто. Неожиданно всюду оказываются вооруженные засады, меткие пули ищут цель среди взбирающихся по склону. Откуда взялось оружие, остается тайной; но оружие очень даже настоящее, а засаду на них устроили хладнокровные молодые люди, парни и девушки. С высоты некрополя гремят быстрые, ритмичные выстрелы. Пулемет? Колония и Липта — нынче вам не везет. В пещерных гробни-

цах, за высокими каменными стенами, наверно, засел бдительный отряд молодежи; пять дней и пять ночей они находятся там неотлучно. Их всего семеро, но этого вполне достаточно. Колония и Липта наверх не проходят, еврейский пригород Меа-Шеарим, Бухарский квартал остаются целы. Обитатели покидают Тальпиот, и мародеры грабят дома, пока из Египта не прибывают войска, английские томми, которым совсем не по душе вести здесь незначительную войну. Расквартировались они в домах на окраине, но обходятся с ними отнюдь не бережно — после их ухода понадобится серьезный ремонт.

Иерусалим дрожит в неимоверном возбуждении, но христианские общины, иностранные консульства мало что замечают. Многие из них живут спиной к еврейскому поселенчеству; да и почему Святая земля должна перестать быть музеем религий? Возможно, после этой конечно же прискорбной сумятицы все они опять останутся в своем кругу, самым прогрессивным элементом в стране опять будут считаться немецкие храмовники, brave швабы, и можно будет уже не опасаться конкуренции приезжих восточных евреев. Польский консул думает иначе. Посещая жертвы в больнице «Хадасса», он выражает им сочувствие от имени всего консульского корпуса...

Иные же чиновники на просторах Палестины предпочитают выразить солидарность с ара-

бами. Некий канадец, журналист и юдофил, бежит в ближайший полицейский участок и требует вмешательства. «Через две минуты после их смерти», — ответил ему хладнокровный начальник. Да, но ждать так долго нельзя, считают евреи, эти странные святые, и берутся за дело сами. Многим мародерам приходится плохо — вне всякого сомнения. У евреев расправа коротка; среди них есть весьма опытные стрелки, старые legionеры, солдаты мировой войны. Все идет не так, как рассчитывал сброд, даже совсем, совсем по-другому; при подведении итогов в конце этой небольшой заварухи окажется, что, хотя с жизнью расстались сто тридцать три еврея, погибло и минимум сто шестнадцать арабов; и оба народа насчитывают вдвое больше раненых. Разница лишь вот в чем: из евреев убиты большей частью беззащитные люди старшего возраста, в том числе женщины; арабы же почти все без исключения погибли в бою, столкнувшись с превосходящим противником. Правительство запрещает выпуск газет. Что происходит в стране, никому не известно.

А в стране соседствуют ужас и спокойствие. В Хевроне, в этом подстрекательском гнезде, происходит сущая бойня. Трех-четверых рабби, в том числе престарелого рабби Исразля Лёбельмана и учеников его ешивы, никто не спасет. Им бы следовало больше играть в футбол и меньше

изучать Гемару, не пренебрегать и земным оружием помимо духовного. Ведь перед Богом и людьми защита жизни разрешена, в таком случае позволительно нарушить все законы шабата. Но пока они решают, есть ли угроза для жизни, их успевают убить, а позднее комиссии будут спорить, наличествуют ли у восемнадцати трупов увечья, в нанесении которых враги обвиняли опьяненных кровью арабов, в том числе и на войне. Хеврон — место почтенное, евреи живут среди соседей без защиты. В Хевроне, в Яффе — да, яффские мужчины тоже нападают на своих сограждан, и там тоже пожары, убийства, мародерство. Но ближний город Тель-Авив тотчас присылает подмогу. Множество молодых евреев устремляется на помощь, еврейская полиция: стоп, господа хорошие! Город Яффа поплатится за это нападение, евреи покинут его, уедут в Тель-Авив, Яффа придет в упадок, Тель-Авив поднимется. Пожары в Яффе, пожары в Цфате. Там коммерсанты, здесь старые учителя ешивы переживают скверные дни. Они баррикадируются, в Цфате много погибших. Люди, недавние соседи, убивают друг друга, слишком много всего написано, напечатано и принято на веру: зачем иначе неграмотные учатся искусству чтения...

Броневики спасают целые городские кварталы, врачи налагают целебные повязки — только от огня мало что помогает, от шумного, очи-

щающего. В Иерусалиме выгорает некая улица. Остаются лишь каменные стены, тёсовый камень из каменоломен Соломона, почерневший от пожара, никуда не годный. Жители мало что спасли. Некогда состоятельные, теперь они стали нищими; кто возместит им ущерб, раз они живы? Из одной квартиры не уберегли ничего — ни стола, ни ковра. Жилище человека, которого звали де Вриндт, огонь уничтожает целиком и полностью. Тщетно брат в Роттердаме будет ждать наследства, памятных вещиц, сувениров. Полиция в свое время опечатала квартиру; а теперь не до обязанностей перед наследниками, теперь хватает иных забот. И огонь с грохотом врывается в наконец-то треснувшие двери. Длинный язык пламени мчится по коридору, прохладный вечерний ветер помогает опустошительной стихии. Огонь набрасывается на книги; потрескивая, шумно взбухая, срывает занавески с фолиантов Талмуда, с раввинских шедевров, молитвенников, комментариев и светских европейских сочинений. Цветные ковры на стенах в мгновение ока чернеют, обрачиваются вихрем пепельных хлопьев и дыма. Деревянные стеллажи безропотно становятся очагами глубинного пожара, сами книги горят медленно, плотно спрессованные страницы занимаются с трудом, но если уж займутся — не потушишь. Заодно пламя дочиста вылизывает

письменный стол, оконные стекла лопаются от жара, и опаленные листы бумаги летят-кружатся в дыму, затянувшем квартал. Нет более четверостиший, полных человеческого упрямства, нет записок о жизненных муках и противоречиях, нет календарных записей: «В половине шестого С.». В эту квартиру не направляют струи брандспойтов, ведь нет никого, кто бы этого потребовал. Потому-то огню хватает времени уничтожить все; кажется, в этом и состоит его зловещая задача. Не отпугнут его ни молитвенное покрывало, талит в синем, расшитом золотом бархатном чехле, ни ремешки с черными кожаными коробочками, называемыми «тфилин» и содержащими пергаментные свитки со стихами Торы, священные изречения, хранившиеся в шкафу, в правом нижнем ящике, в шелковом мешочке. Сам письменный стол, за которым разыгрывалась бурная жизнь человека по имени Ицхак, теперь действительно становится алтарем всесожжения. И однажды, когда рабочие с кирками будут сносить полностью выгоревшие руины домов, кто-нибудь из них, возможно, найдет на полусгоревшей доске плоский кусочек серебра, растекшийся как расплавленный свинец, на котором дети гадают в сочельник; и если работяге повезет, он сунет этот плоский слиток под рубашку, а вечером продаст местным торговцам, на вес. А затем монеты, прошедшие че-

рез руки де Вриндта, превратятся под умелыми пальцами йеменцев в филигрань, в тонкое плетение, в искусную оправу перстней, треугольных как епископские митры, с отверстиями для бирюзы, в длинные цепочки, в тяжелые браслеты с выпуклым узором, сделанным вручную, — вот и все, что останется от материи человеческой жизни. Мертвые мертвы, и память о них исчезает...

Так происходит в городах. Но что суждено поселениям, рассеянными по стране, разбросанным на побережье меж Ришон-ле-Ционом и Атлитом, цветущим во внутренних районах меж Беэр-Товией и Зихрон-Яаковом или Кфар-Бадуйей? А главное, что творится в Эмеке меж Хайфой и Бейсаном, в комплексе меж Седжерой и Дганьей и в самых северных областях Верхней Галилеи, где от Мишмар-га-Ярдена на востоке, Рош-Пины на юге, Йесуд-га-Маалы на западе еврейская территория расположена в горах, не говоря уже о приграничных поселениях Метула, Кфар-Гильади, Тель-Хай? О них ничего не известно. Телефон работает с перебоями, потом вообще отключается; но прежде чем связь пропадает, слышны возбужденные голоса.

О чем они говорят? По всей стране эхом разносится: ружья! Трактористы, копатели канав на дренажных работах, работники плантаций, сеятели, ирригаторы, скотники, конюхи — по-

селенцы сельскохозяйственных ферм, товариществ, мелких усадеб — все эти отряды, пункты еврейского обновления, связанные созиданием и жизнью, укоренившиеся здесь благодаря пяти-, десяти-, двадцати-, тридцатилетним усилиям, — все эти люди мертвой хваткой вцепляются в свою землю и жаждут одного: оружия! В беспокойные послевоенные времена оно у них было, в 1921 году они его использовали. С тех пор оно, хорошо смазанное, лежало в запечатанных арсеналах; кое-кто бросил свое оружие в Иордан — кому в Земле Израиля нужно ружье? Сегодня оно необходимо; вопрос лишь в том, как его получить. Арабские деревни, построенные на холмах или укрытые в ущельях, расположены стратегически лучше, чем еврейские поселения в долинах, у подножия гор; да разве при покупке земли кто-нибудь учитывал стратегические соображения? Там, где английский приказ очищает населенные пункты, они и без того обречены разрушению; но сгорают и сеновалы и запасы соломы Бейт-Альфы, Эйн-Харода, Тель-Йосефа. У арабов оружие есть; бедуины, пасущие стада на холмах и в предгорьях Галилеи, весело стреляют вниз, в барачные поселки, квадратные дворы, которые сверху отлично просматриваются. Там по дворам водят бесценных коров, там снует птица, выращенная с огромным трудом, — давайте истребим эти вредные нов-

шества и вернем себе землю, нашу давнюю землю, проданную евреям.

Но они не приняли в расчет шоферов. Полиция держит под контролем дорожные перекрестки. Конные жандармы — люди лейтенанта Машрума, местные полицейские из довольно крупных узловых пунктов — сплошь арабы, многочисленных евреев мало-помалу либо уволили со службы, либо задевают в городах. Полиция внепартийна, отвечает за поддержание порядка. Владение оружием под запретом. Тот, кто нелегально перевозит или распространяет оружие, подлежит уголовному преследованию, а оружие, конечно, конфискуется. Повсюду из засад обстреливают проезжающие еврейские автомобили; стрелков в арабских деревнях не поймаешь, как не поймаешь любителей гашиша на улицах египетских предместий, ведь построены они очень хитроумно, с множеством закоулков. Но евреи-шоферы продолжают ездить. Некоторые одолевают за дни беспорядков по две тысячи километров. Везут овощи, но под овощами спрятано оружие. Везут страдальца, которого — большая редкость в Палестине — укусила змея, везут далеко, к врачу; умирающий парень стонет на ковре, а под собой чувствует что-то твердое, длинное — ружья. Им и Метула на севере не слишком далеко, и Маркенхоф на востоке, где немецкие ребята намерены защищать

свою жизнь, не слишком уединен — светлоглазые, загорелые водители доберутся куда угодно. Если британский араб-полицейский перекрывает главные дороги, они едут горными дорогами, старыми проселками, заброшенными после постройки более современных и лучших шоссе, — словом, шоферы будут в нужном месте: товарищи в беде, евреи, можно ехать и ночью, благо ночи-то светлые.

Вот так, повсюду, евреи защищаются своими силами. Работают не в поле, а строят укрепления и каналы роют не для орошения, хотят жить, оборонять свой инвентарь, засеянное поле, жилой барак, дом своих детей. Да, стайки малышей, самых обласканных существ в стране, с их веселыми глазами и смуглыми ручонками, свежими, наивными ротиками. Их укрывают от опасности, собирают в особенно уютных местах, пусть поменьше замечают, что в стране разгорается погром. Именно погром, и только. Не национальное восстание, не мятеж экспроприированных против имущих, не бунт против мандатарной власти, нет, обыкновенный погром, знакомый из еврейской истории, но на сей раз он протекает не так, как раньше: жертвы, евреи, в корне изменились. Они отбиваются, и их удары попадают в цель.

Разумеется, обширные территории страны остаются совершенно незатронуты. В Палестине

проживает примерно шестьсот тысяч арабов; в беспорядках же участвуют тысячи три, большего числа пропаганда националистов не охватила. Остальные почти поголовно все сохраняют благоразумие. Сколь ни отравлена атмосфера слухами, полными взаимных обвинений, они предпочитают доверять собственным глазам и собственному опыту, а не болтологии памфлетов; с евреями в страну пришли экономический подъем и личная выгода. Жить с евреями очень даже можно, люди дружат, ценят друг друга, и сейчас эта основа оказывается вполне прочной. Всюду в стране есть примеры тому, что добрососедство значит больше, чем национализм, что будущее Палестины в руках обоих народов. Слава храброму полицейскому офицеру из Лода, который, когда в его городе, узловом пункте для многих еврейских поселенческих территорий, назревают беспорядки и молодые парни собираются в толпу, взбирается на бочку и взволнованной речью спасает честь своего города; слава жителям деревень Абу-Гош и Анис, которые привели своих детей к поселенцам Кирьят-Анавим как гарантию мира; слава соседям детской деревни Бен-Шемен, шейхам Ахибу и Абусиру, христианину-коммерсанту Насифу, что подтвердили в эти дни искренность своей дружбы. Да, после бурных дебатов в доме Джеллаби престарелый шейх Амин вовремя разослал предосте-

режения, успокоил своих усердных крестьян и отцов семейств. Он знал! Ярость приходит и уходит, но деяний ярости уже не вернешь, и лишь по прошествии лет испорченное добрососедство вновь станет настоящей соседской дружбой и взаимопомощью. Надо ли доводить дело до карательных операций? Разве французы не показали, на что способны неверные, если срывают их планы и будят их беспощадность?

Английские летчики в Цемахе запускают моторы, поднимают самолеты в воздух, обстреливают из пулеметов пыльное поле. На крышах еврейских домов чертят круги и другие знаки, раскладывают условленным образом ткань, чтобы только в поддавшихся на подстрекательства деревнях бомбы уничтожили праведных вместе с неправедными: стар и млад, поверивший пропаганде юнец и усердный рабочий — месть машины сметет вас всех...

За рубежом, в Европе, в Америке, громко вскипает недовольство мандатарной державой. Ее обвиняют в слабости, она не иначе как все проспала, отдельные ее чиновники состоят в заговоре с подстрекателями — слово английской нации в опасности: можно ли называть страну «домом евреев», раз в ней возможно такое? Англичане неохотно размещают гарнизоны в районах, занятых мирным строительством, не то что французы, которые держат в соседней Си-

рии не одну бригаду колониальных войск, у них там и танки, и тяжелые пулеметы на броневишках, и дивизионы полевых пушек. В Палестине и Трансиордании достаточно полиции, несколько сотен человек — *that's all**. До сих пор их хватало, хватило бы и впредь, если бы с самого начала кто-нибудь, как, бывало, лорд Плумер, пристально следил за арабскими националистами. Теперь же приходится в спешном порядке перебрасывать войска из Египта; а когда с Мальты подойдет английский флот? Американские газеты негодуют: британское морское командование не держало в виду Иерусалима ни одного боевого корабля, на Мертвом море нет ни единого крейсера! Что ж, Америку отделяет от Палестины половина глобуса, откуда им знать, что Иерусалим расположен в восьмидесяти километрах от побережья, а Мертвое море — это озеро, лежащее на четыреста метров ниже уровня моря? Негодование американцев справедливо; в самом деле, где же английский флот? Когда в виду Яффы или Хайфы появится хоть один крейсер? Когда матросы, примкнув штыки, высадутся на берег, чтобы не позволить целым кварталам красивого, перспективного города взлететь на воздух?

* Это все (англ.).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

След

За Хайфским заливом открывается долина, по которой протекает река Кишон, распадаясь на множество рукавов, то сужаясь, то расширяясь. Там, где изрезанное ущельями предгорье Кармеля спускается к этой долине, живет арабское большинство города Хайфы, а арабов здесь вдвое больше, чем евреев. Ситуация опасная и простая. Если арабы нападут, то именно оттуда, из долины. С высот Кармеля можно взять их под обстрел. Однако поскольку численность обеспечивает им безусловное преимущество, судьба Хайфы в конечном счете зависит от клубов дыма, поднимающихся из толстых труб спешащих сюда миноносцев и тяжелых крейсеров. Придут ли они своевременно? Если нет, разрушения будут велики.

На стрелковом рубеже наверху, за каменными плитами и кучами камней, сейчас дежурит отряд рабочих. Он сменил товарищей, которые сразу ушли в тени — поесть и поспать. Граждане Га-

дар-га-Кармеля, большого еврейского Верхнего города Хайфы, прислали съестное с учениками реального училища; слушатели Политехнического института помогают обороне по-другому. Их руководитель, мужчина среднего роста, с черной как вороново крыло бородой под тропическим шлемом, разговаривает сейчас с невысоким парнем, краснощеким, круглолицым, со спокойными голубыми глазами, которые смотрят уже отнюдь не сонно... Эли Заамен не очень-то хотел подвозить его в Хайфу, но в итоге нашел весьма дельным. Парень будет работать там, куда его поставят, — вот и отлично. Стрелять из винтовки он не обучен, слишком молод, но вполне способен пробраться в определенные места, соединить провода, подключить батарейку от карманного фонаря, послать через электрический контур крохотную искру. И тогда рванут мины, заложенные ребятами из Политехнического, и горе тем, кто в этот миг идет по минному полю. Так научился на Кавказе артиллерийский поручик Эли Абрамович Заамен и так действовал сам, когда где-нибудь недоставало саперов; на худой конец, можно стрелять и без пушек. Парень слушает, он ничуть не возражает. Возможно, с ним самим при этом что-нибудь случится; *махлеш*, пустяки, говорят в таких случаях арабы. В конце концов, любой нормальный человек при любой опасности думает, что уж он-то уцелеет.

Время еще не пришло. Все сидят в укрытии, прислонясь спиной к камням, ищут тени. Несколько парней ведут наблюдение, им дали бинокли, и они ужасно важничают. Остальные разговаривают. Слухов ходит великое множество, о перестрелках, нападениях, актах возмездия. Что случилось с Нагалалем, красивой деревней и девичьей фермой, расположенными в тылу, на перекрестке дорог в Назарет? Надо бы послать туда кого-нибудь; правда, пройти ему будет трудно. Один предлагает попросить об услуге шейха друзей. На Кармеле живут остатки этого таинственного народа, они не арабы и вообще не мусульмане, но и не христиане; у них свое происхождение и своя сокровенная вера, а поскольку в гонениях турецких времен их почти истребили, к евреям они относятся с симпатией. Сейчас они, пожалуй, единственные, кому не приходится вставать на чью-то сторону.

— Они вообще не верят в Бога, — говорит краснощекий парень, который временно работает в каменоломне вместо чернявого крепыша. — Мой товарищ Левинсон и его люди...

Кое-кто смеется, один сплевывает.

— И что же там с Левинсоном, а? — спрашивает чей-то голос у него за спиной.

Все оборачиваются: это всего лишь англичанин в бриджах и белом пиджаке, мистер Эрмин, который приходил сюда вчера и позавче-

ра, осматривал рубеж, как он говорит. Поначалу его встретили недоверчиво, даже весьма в штыхы. Ясно ведь, что он имеет какое-то отношение к правительству, к враждебному чиновничьему аппарату, и не только к здешнему. Но потом все успокоились. Мистер Эрмин исподтишка не нападет; он конфискует их оружие, только когда высадутся британские матросы... Про мины он ничего не знает.

Эрмин и инженер Заамен обмениваются рукопожатием. Они быстро признали друг в друге бывших фронтовиков. Между ними разногласий не будет. С какой целью Эрмин прибыл в Хайфу, он, разумеется, перед новым знакомым умалчивает; пищи для разговоров и так достаточно. Эрмин настаивает, чтобы огонь открывали только в самом крайнем случае; того же хотят и Заамен, и те из его людей, что постарше, с карабинами. Тех, что помоложе, горячих голов, надо держать в ежовых рукавицах, пусть довольствуются пистолетами, дальнобойность которых невелика. Они мечтают о ящике немецких ручных гранат, который якобы еще с времен войны спрятан в каком-то секретном месте, в одной из множества пещер Кармеля, где некогда прятался еще пророк Илия от преследований энергичной царицы Иезавели.

— Так что там с Левинсоном? — спрашивает Эрмин, отскочив в укрытие. Слышен выстрел,

свинцовая пуля на излете расплющивается где-то о камень.

Невысокий краснощекий парень медлит с ответом. Рабочим-коммунистам, сторонникам ортодоксальной русской революции, в этой стране приходится нелегко. Как и всюду на свете, здесь любят брать их под стражу, высылать. Но это ведь евреи и рабочие; пусть даже они сто раз ставят себя вне общества — предавать их нельзя. Капитан Эрмин предусмотрительно успокаивает его. У них тут мужской разговор; сказанное улетучивается, как только попадает в уши.

Это не вполне соответствует истине, но, пока мистер Левинсон и его товарищи ведут себя тихо, тайная полиция не станет вспоминать определенные разговоры в окопах.

Инженер Заамен подбадривает своего краснощекого адъютанта.

Так вот: он, новичок, желторотый, вчера ночью в бараке еще раз попробовал перетянуть товарищей по работе в лагерь народной обороны, но, увы, безуспешно. Левинсон четко объяснил: сознательного рабочего происходящее совершенно не касается. Арабская буржуазия пытается отделаться от еврейской буржуазии, своей конкурентки в эксплуатации, конечно же с помощью сельского пролетариата, феллахов, которые пока не осознали своей исторической роли и позволили вовлечь себя в борьбу за классово

чуждые цели. Среди защитников еврейского эксплуататорского класса вместе с ними («то есть вместе с нами») оказываются фашиствующие молодчики, так называемые рабочие-социалисты, а на самом деле введенные в заблуждение обыватели, попавшиеся на эту удочку.

— Значит, мы попадаемся на удочку, — воскликнул крупный, желтовато-смуглый мужчина со сросшимися на переносице бровями и аккуратно поставил ружье в затененный угол, потому что солнце раскаляло ствол, — мы попадаемся на удочку, а что делают наши товарищи в кибуцах?

— Левинсон говорит, они, вольно или невольно, служат национальной эксплуатации; на службе зарубежной буржуазии экспроприируют рабочих-феллахов, — подытожил красноречивый мнение предыдущего оратора. При этом его лицо осталось серьезным, но глаза впервые улыбнулись.

Капитан Эрмин внимательно смотрел на него. Умный парень, подумал он. Хорошо понимает и умеет четко изложить то, что внутренне не приемлет. Но ведь и у нашего брата двойное дно, а если надо, и тройное.

Послышался громкий смех, язвительные возгласы.

— При этом мы все-таки экспроприируем мировую еврейскую буржуазию, — иронически

объявил другой парень, в рубашке цвета хаки, и утер потный лоб, причем стало видно, что на правой руке у него недостает указательного пальца. — Этого ты им не сказал? Кто оплачивает землю, на которой мы строим кибуцы? Буржуазия, поддерживающая «Керен каемет».

— А как насчет средств, на которые «Керен га-Йесод» закупает станки, племенной скот и посевной материал?

— А барон, который в одиночку держит «Пика», может, он — партийная касса?

Все расхохотались. Все знали, что «Пика» — это крупный профранцузский фонд Эдмона де Ротшильда, которого в стране называли просто бароном, восьмидесятилетнего старика, уже сорок лет увлеченно служившего строительству Палестины.

— Что за потерянные души!

— Левинсону все это известно, — запротестовал краснощекий, — и у него на все есть ответ. Все это, говорит он, взятки, с помощью которых еврейская буржуазия гасит ударную силу еврейского пролетариата. Здешняя игра не для него и его сторонников, он остается в стороне, ждет, пока у наших товарищей и у феллахов созреет сознание. Тогда они сообща создадут единый фронт классово сознательных пролетариев.

— Пускай ждет, — сухо сказал инженер Заамен, — надеюсь, им хватит терпения...

— Жаль ребят, — обронил седой рабочий, надвигая кепку на лоб, — они бы нам пригодились.

Некоторые кивнули. Возникла пауза.

Эрмин сел поудобнее, набил трубку, обратился к краснощекому блондину:

— Вы работаете в каменоломне? Небольшое удовольствие, когда находишься в стране совсем недолго, верно? Вы думали, будет легче?

Парень пожал плечами, выпятил нижнюю губу.

— Главное — есть работа.

— Вы ведь приехали втроем? — спросил Эрмин, раскуривая трубку. — То есть вас было куда больше, но вы трое особенно сблизились.

— Смотря по обстоятельствам, — ответил краснощекий и пошел прочь.

Эрмин проводил его взглядом, он осторожно пробирался за камнями к тенистому месту, чтобы попить воды.

— Толковый парнишка, — заметил он. — Он вернется сюда?

— Как только будет мне нужен, — ответил инженер Заамен. — Он мой посыльный, разносит приказы, ну и кое-что еще делает, если надо. — Настроив бинокль, он долго изучал горизонт, который дивно четкой линией разделял вдали подвижное море и небо. — Я вижу там что-то темное?

Арнольд Цвейг. Возвращение в Дамаск

Эрмин попросил бинокль, у него зрение было получше.

— Дым, — сказал он.

Все столпились вокруг него, тоже хотели посмотреть: приближается эскадра, деблокирующие британские войска.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Незадолго до начала беспорядков в Иерусалиме Эрмин выехал в Хайфу с теми двумя бумажками, что извлек из мусорной корзины возле письменного стола де Вриндта: обычным голубым конвертом, какие дают при покупке открыток, и тонким листком папиросной бумаги для пишущих машинок. Единственная подсказка — обнаруженное сверху слева на конверте заглавное латинское «Н», зачеркнутое там, где в немецкоязычных странах обычно пишут слово «Herr», «господин». Возможно, писавший был из немецкоязычных краев? Лежал в больнице? О серьезном недомогании свидетельствовала подпись в письме. Ошибки в иврите, возможно, связаны с тем, что в стране он недавно. Хотя не исключено, что его выводы ошибочны. Вообще, чего стоят умозаключения, чего стоят подсказки? В Хайфе примерно пятнадцать тысяч евреев, сейчас там хаос, порядка нет и в помине. Лишь удачное стечение обстоятельств могло помочь терпеливо

ожидающему выйти на след; и вообще-то Эрмин рассчитывал на такое стечение обстоятельств, потому что знал: если укрывательство тяготит слабую душу, продержится она недолго — все расскажет или сломается. Надо только быть близости, общаться с людьми, которые по роду деятельности волей-неволей узнают подобные тайны, то есть с врачами, медсестрами или жоками рабочих, — словом, с людьми, которые пользуются доверием.

Разумеется, по мере развития событий розыск убийцы с каждым часом все больше отступал на задний план. Эрмин взял его на себя, так сказать, в мирное время, когда умышленное убийство по политическим мотивам резко выбивалось из течения будней, словно внезапный водяной бурун от взрыва на прежде гладкой поверхности моря. С тех пор такие взрывы, всегда одинаковые, стали повседневностью. Он располагал не большей информацией, чем правительство, и куда меньшей, чем молва; но ему хватало. Палестинская жизнь шаталась в своих основах. Похоже, арабы и евреи предъявили друг другу счет, который никогда уже не оплатить. Душевное состояние людей, их возбуждение, их взаимное негодование, сомнительность собственности и будущего для каждого в отдельности, необдуманные и бестолковые угрозы, советы и отчаянные меры — все это создавало атмосфе-

ру войны. Прямо как дело Жореса*, вспомнил Эрмин, точь-в-точь дело Жореса. 31 июля 1914 года весь мир вскрикнул, когда убийца-националист застрелил одного из лучших людей своей страны; спустя три дня, а может, даже и два, это дело отправилось в архив под напором новых и новых зловещих событий. В такие дни даже за самым для себя важным следишь поистине только вскользь — ведь идет война, убийство становится обыденностью, каждый должен заботиться о том, чтобы все это поскорее закончилось. Снова по Хайфе просто охотником за убийцей де Вриндта показалось бы ему очевидным безумием.

В эти дни ему вспомнился один из давних военных эпизодов, случившийся, когда он только-только прибыл во Фландрию. Недавний студент, он находился там с одним из лучших своих друзей, с которым еще летом 1913-го совершил незабываемо чудесный пеший поход через горную Баварию: от Веттерштайна через Вальхензее в Инсбрук. Он еще помнил на вкус каждый глоток вина, какое они пили: писпортское в трактире «Озерный охотник», терланское на Ахензее, кальтерское в Инсбруке. Ровно год спустя оба пошли воевать: договоры договорами,

* Жорес Жан (1859–1914) — руководитель Французской социалистической партии; активно выступал против колониализма, милитаризма и войны.

но нельзя же допустить, чтобы кайзер подчинил себе весь мир. Однажды его другу, человеку очень дотошному, захотелось выяснить, чем занимаются немцы в окопе напротив, парни, которых он хорошо знал и встречи с которыми в том походе были необычайно приятными и веселыми. Ну он и высунул голову из укрытия, получил пулю в лоб и рухнул, соскользнул на дно окопа — и всё. Значит, ради этого молодой парень вопреки желанию начальства оставил гражданскую службу в Индии — разве его удержишь, ведь в Европе война; ради этого он дискутировал с морщинистыми настоятелями бирманских монастырей об абсолюте, о сущности, стоящей за явлениями, о божественном... Тогда Эрмин тоже думал, что никогда им не простит и сделает все, чтобы отомстить за друга. Но время обтесало его, война продолжалась слишком долго, жизнь не потерпела мальчишеской мстительности... Пока что он был в Хайфе вполне на месте: его энергией здесь еще удавалось кое-что предотвратить. Пока что убиты четверо евреев и восьмеро тяжело ранены; введено чрезвычайное положение, поджигателей и мародеров брали под стражу. Человек семьсот переправлены в Гадар-га-Кармель, где они жили в скверных условиях, но хотя бы в безопасности; войска на подходе, они восстановят порядок. Еще несколько дней — и наверняка настанет мир, худой

мир, поскольку любая война уничтожает толику нравственного багажа участников, но все ж таки мир. Правительство Нижней Галилеи воспользовалось присутствием Эрмина, его знанием языка и доверием к нему еврейских лидеров, чтобы улучшить свое положение и получить как можно больше надежных сведений о происходящем в стране. Он имел доступ повсюду и держал уши открытыми. Одна из таких встреч подкинула зацепку и ему самому — за два дня до прибытия крейсера «Барем» и визита на кармельские позиции, который, стало быть, отнюдь не случайно привел его к некоему Менделю Глассу.

Три дивана украшали ателье художника З. Перла в Гадар-га-Кармеле; и с позавчерашнего дня каждый служил ночлегом одному из гостей. Из-за нехватки жилого пространства дома буржуазии и рабочих едва не трещали по швам — семьсот эвакуированных в новом предместье, немалая проблема накормить их, напоить, устроить на ночь, присмотреть за детьми, хоть как-нибудь сдержать их страшное возбуждение! Лишь поздно ночью мужчины и женщины могут отдохнуть, поговорить между собой... Дом Перла, удачно вписанный в ландшафт хитрым архитектором, господствовал над впадиной, стремился из Гадар-га-Кармеля ввысь, к вершине горы. Окна его смотрели на море, а

террасы — на горы. Ночное небо и наконец-то прохладный воздух.

— Военный эшелон задержали в пути, войска частью разоружены.

— Англичане? Болтовня.

— А что телефонная связь с Назаретом, Иерусалимом, Тверией оборвана — тоже болтовня?

— Нет, это правда.

— А что передают только военные депеши?

— Тоже.

— А что перевозки в Бейрут остановлены? И в Бейт-Альфе идут тяжелые бои? И что кавалерия из всех сил старается оборонить границу по Иордану от пришлых арабов? — Голос учителя Хонигля чуть не сорвался от возмущения. — Я уехал из родной Баварии для того, чтобы погром настиг нас здесь?

Множество мужчин и женщин, собравшихся на окруженной каменной стенкой террасе, говорили по-немецки или понимали этот язык. Женщины, усталые от работы, измученные влажной жарой, после домашней суеты отдыхали в шезлонгах; мужчины расхаживали по террасе, курили, порой стояли друг перед другом, вцепившись собеседнику в пуговицу пиджака или в рукав.

Эрмин пришел с Барсиной, коллегой из правительства. Кое-кого из мужчин он видел второй или третий раз; если иной говорил слишком быстро, как коротконогий господин Хонигль, он

ничего не понимал — после войны немецкий заржавел у него в голове. Зато молодого доктора Лотара Кана понимал прекрасно — тот говорил медленно, жестами необычно длинной руки подчеркивая свои здравые рассуждения.

— Сделаны ошибки, ладно, — признал он, — поэтому нам в свою очередь надо постараться их избежать.

Хонигль прямо-таки взорвался:

— Нам, всегда нам! Избежать! Пулеметы! Слава богу, летчики с Хайфского залива стреляют не вашими словами, а пулями в тонкой медной оболочке!

— Наших людей, защищающих себя и нас, говорят, опять разоружили. В итоге вы, глядишь, еще и под суд их отдадите, как арабских убийц? — Судья Моссинсон, американец, обратился по-английски к обоим чиновникам.

— Ваши товарищи в Иерусалиме разоружены, потому что главный муфтий указал на огромную опасность, грозящую другим евреям, на которых могут напасть здесь, и в Дамаске, и в Багдаде, — осторожно ответил Барсина.

— Вот мошенник! Он один во всем виноват, — вскричал разъяренный господин Хонигль; он имел в виду главного муфтия, какового арабские чувства обуревали не больше, чем его самого — еврейские. Супруга Хонигля — она собственными стараниями организовала панси-

он на тридцать учеников и руководила им — с симпатией смотрела на мужа, которому присутствие правительственных чиновников нисколько не мешало открыто высказать свое мнение. Маленький, приземистый, выпятив подбородок и сжав кулаки, он бы с удовольствием нокаутировал бедного Барсину.

Молодой Лотар Кан, в кипе на скошенном черепе — Перл и он принадлежали к числу лидеров ортодоксальных сионистов в стране, их слово имело вес и на заседаниях европейских «мизрахи», — вежливо попросил разрешения возразить коллеге Хониглу. Надо полагать, присутствующие не против углубиться в более академический спор? Ожидание вестей, заработает или нет телефон и все прочее, только нервирует. Их друг Заамен наверняка вскоре сообщит об обороне Гадар-га-Кармеля, а до тех пор не стоит слишком предаваться воинственному настрою и сиюминутным волнениям.

Перл кивнул: воинственный настрой — метко сказано. Он был прусским офицером, Хонигл — унтер-офицером, молодой Кан — вольноопределяющимся, доктор Филипсталь — военфельдшером запаса, архитектор Моренберг — рядовым артиллерии, все они участвовали в великой мужской битве и вовсе не собирались лишать себя переживаний, какие сулила нынешняя обстановка.

Господин Хонигль тотчас запротестовал. Отверг военные аналогии. О войне здесь и речи быть не может. Науськанные мародеры, сброд, который выпускал пары, вот и все — погром, усмирить который вообще-то дело полиции.

Доктор Кан высокомерно махнул длинной рукой:

— Я как раз хотел уточнить, мы ли завезли сюда погром или у него есть корни здесь, в стране, ведь от этого зависит характер наших действий.

Но Хонигля было не унять.

— Что мы сюда завезли? — вскричал он. — Деньги, а именно ценности, работу, цивилизацию, правовые понятия, здоровье, современное государство — вот что мы завезли! Не знаю, сколько Национальный фонд потратил на приобретение земли, но думаю, минимум миллион фунтов.

Архитектор перебил его. Долгие годы он был представителем Еврейского национального фонда в Хайфе и потому держал точные цифры в голове. При покупке земли арабам выплатили ровно миллион с четвертью фунтов; на мелиорацию, осушение болот, строительство дорог, регулирование рек ушло еще двести тысяч фунтов, сто тысяч — на лесопосадки и примерно пятьдесят тысяч — на городское строительство.

С победоносным видом, будто выложил эти огромные суммы из собственного кармана,

Хониэль выпрямился во весь свой небольшой рост.

— Вот что мы сюда завезли, сударь, плюс минимум еще четыре миллиона фунтов «Керен га-Йесод» — добровольные взносы евреев со всего мира, нашего среднего класса и маленьких людей, — вдобавок все то, что инвестировал барон. Вот что мы завезли в страну; сто пятьдесят тысяч евреев как форпост и местоблюстителя нескольких миллионов, которые мысленно с нами. Следовательно, нападение на нас мы должны... — От ярости голос у него сорвался.

Эрмин, сидевший рядом с архитектором, едва не рассмеялся.

— Чудной вы народ! — вполголоса воскликнул он. — Спорите о причинах враждебного к вам отношения, когда враг в самом деле стреляет у порога.

Эхо выстрелов прокатилось в ночи, вероятно слегка приглушенное выступом Кармея, потому что правее дорога огибала скалу.

Архитектор заслонил глаза от света снаружи, вероятно, в надежде разглядеть вспышки дымного пламени на вершине горы, где жили его друзья. Но ничего не увидел и снова взял свою необычно большую трубку, которая привела в восхищение даже Эрмина.

Судья Моссинсон опечаленно проворчал:

— Вот всегда у нас было так, уже во времена Тита, знаете ли.

А доктор Кан с серьезным видом произнес:

— Над нами ночное небо, прекрасные звезды, это край, где мы живем или умрем. Не попытаться ли в самом деле объективно оценить ситуацию? Что толку уклоняться от трагического конфликта лишь потому, что он создает нам большие трудности? Кто получил деньги за купленную нами землю? Не феллахи и не портовые докеры, которые за несколько пиастров в день таскают на голове и на спине тяжелые грузы. Нам пришлось покупать землю у ее владельцев, потому что правительство бросает нас на произвол судьбы, и лишить арендаторов куска хлеба, потому что ни одна инстанция не контролировала использование вырученных денег. Мы невольно обогащали своих врагов и создавали основу для взрыва, так как увеличивали нищету.

— А что нам было делать? — раздраженно осведомился Хонигль. — Может быть, учредить благотворительную кассу для безземельных феллахов и тем самым финансировать своих убийц, например того малого, что прикончил сумасшедшего де Вриндта?

Эрмин наострил уши. Он увидел, как Перл протестующе вскинул руку, Зигмунд Перл, некогда единомышленник убитого и коллега по фракции, и ожидал, что сейчас тот скажет что-

то важное, когда из самого темного угла террасы низкий, очень уверенный голос произнес:

— Де Вриндта убил не араб. Не стоит повторять эту чепуху.

Голос принадлежал молодому доктору Филипсталью. Его сигара осветила на миг безбородое лицо и умные глаза. Красивая молодая жена предостерегающе положила руку ему на плечо. Много лет он был чуть ли не единственным евреем, который жил в ближнем рыбацком городе Акко, занимаясь там медицинской практикой, и считался в Хайфе неисправимым арабофилом. Однако это его заявление уже выходило за все дозволенные рамки.

— Кто, если не араб, убил де Вриндта? — спросил Хонигль с опасным спокойствием. — Неужели еврей — но я лично даже мысли такой не допускаю! — стал убийцей этого свихнувшегося на честолюбии агудиста?

Зигмунд Перл встал, словно собираясь защитить мирное гостеприимство своего дома. Но с шезлонга, где сидела его жена, донесся ее насмешливый голос:

— А теперь давайте отломаем от стульев ножки и продолжим спор на баварский манер.

Кое-кто рассмеялся; доктор Филипсталь объявил, что ни в коем случае ничего более сказать не может и не хочет. Торопливые шаги послышались на лестнице, которая, как в араб-

ских домах, вела по наружной стене на террасу: инженер Заамен утер потное лицо, попросил чего-нибудь холодненького, но взял горячий чай и сообщил, что все более-менее в порядке, по крайней мере, сегодня ночью опасаться нечего.

Эрмин сидел, вытянув ноги, прищулив из-за дыма один глаз, а вторым пристально глядя на доктора Филипсталя. Вот кто ему нужен. Он от него не уйдет и ничего не утаит. Хайфский врач, который оспаривал, что де Вриндт пал жертвой араба, знал об этом от автора письма или от его товарища. Обойдемся без шума, позже, по дороге домой.

Госпожа Филипсталь шла посредине, между двумя мужчинами. Прежде чем решилась переехать в Палестину, она прослушала несколько семестров политической экономии, а здесь стала воспитательницей детского сада и после полутора лет нелегкой работы в Акко с сефардскими и йеменскими детьми вышла замуж за доктора.

— Все-таки странный мы образчик человеческой материи, — сказала она, задумчиво глядя на мостовую улицы Герцля, по которой они спускались с горы. — Нас, евреев, здесь лишь около ста пятидесяти тысяч, а мы уже возомнили, будто вся земля вертится вокруг нас.

Эрмин как бы невзначай поинтересовался, где ему найти больного, который сообщил доктору об убийце де Вриндта.

— Врачебная тайна, — ответил врач, искоса посмотрев на него.

Эрмин сокрушенно проговорил:

— К сожалению, в данный момент полиция не примет в соображение вашу врачебную тайну, доктор.

Доктор Филипсталь не ответил.

Эрмин был слишком умен, чтобы настаивать. Но и не досадовал, просто решил сдать врача под арест ближайшему уличному полицейскому.

Внимания госпожи Филипсталь сей инцидент не привлек. Она с сожалением говорила о национализме студентов по всему миру, полагая, что национализм оправдан ровно в той мере, в какой позволяет определенной группе людей обеспечить себе основные права на участке земной поверхности, который более-менее соответствует их натуре, — собственный язык, самоуправление, творческое раскрытие национальных способностей.

На повороте к немецкой колонии ожидало такси. Доктор Филипсталь взял его, потому что путь вверх по Кармелю был долог. Куда он может подвезти мистера Эрмина?

Мистер Эрмин энергично заявил: он первый надумал взять такси и будет иметь удоволь-

ствие отвезти супругов домой, а затем поедет дальше.

В присутствии дамы спорить о счете за такси неловко. Доктор Филипсталь назвал свой адрес; Эрмин сел рядом с шофером.

Машина быстро катила по извилистой дороге среди светлой, душной ночи. Хайфский залив разогревал атмосферу; в окружении гор воздух плохо смешивался с прохладой внутренних районов страны. Лишь наверху древней горы резко посвежело — подул ветер.

— Хорошо здесь, — вздохнул Эрмин, когда машина остановилась, а молодая женщина, поблагодарив, попрощалась и поспешила в дом, к ребенку. — Жаль, что нам опять придется спускаться.

— Нам? — спросил врач.

— Вы задолжали мне ответ.

Доктор Филипсталь приподнял тонкие брови: он так и знал.

— Я сразу понял, что вы не отстанете.

— Профессия, — кивнул Эрмин, — так что не сердитесь. У вас, врачей, и у нас много общего.

— Почему вы не хотите оставить покойника в покое? — как бы рассеянно спросил доктор Филипсталь.

— Это медицинская точка зрения, — возразил Эрмин. — Нас и юристов занимает еще маленький эпилог под названием «правосудие».

Я не могу оживить беднягу де Вриндта, но человека, который так быстро с ним расправился, я бы хотел увидеть на виселице. И ваш пациент назовет мне его. Только три вопроса, и лучше всего прямо сейчас.

— Среди ночи? — насмешливо спросил доктор Филипсталь.

— Сам удивляюсь. — Эрмин и вправду сам себе удивился. Его охватил охотничий азарт — неожиданно, наперекор ощущению последних дней. Здесь открывался путь, и подобно тому как человек умеренный порой вдруг испытывает приступ ненасытного голода, он сейчас едва сдерживал нетерпение, так ему хотелось узнать все что только можно.

— Вы серьезно так торопитесь? — спросил доктор Филипсталь. И когда Эрмин почти со стыдом сказал «да», добавил: — Тогда ничего не поделаешь. Едем. Я только быстро предупрежу жену.

Больница рабочего кооператива сделала бы честь любому немецкому городу средней величины. Ночная сестра удивленно подняла голову: доктор Филипсталь дежурил днем. Несколько поясняющих слов, и он повел Эрмина по коридору. В большие палаты, где горел приглушенный свет, они не заходили. В конце одного из коридоров доктор Филипсталь открыл дверь и повернулся к Эрмину:

— Опросите этого человека, если сможете.

При свете лампы, маленького масляного светильника, на каталке длинный и худой лежал тот, кто еще недавно был меланхоличным халуцником Шломо Виндшлагом. Лицо с горбатым носом, впалыми щеками, глазами навывкате уже являло взгляду фанатичную строгость посмертной маски, на подбородке виднелась щетина.

— Н-да, — пробормотал Эрмин, — придется опросить. — Он подошел к изголовью, достал карманный фонарь, осветил табличку: Шломо Виндшлаг, Оломоуц, ЧСР, и даты поступления и смерти.

— Дизентерия, — сказал врач, — пришел в больницу слишком поздно, заразу подхватил, вероятно, еще на пароходе. Съел много немытых фруктов или пил сырую воду. Парни геройствуют, пока не погибнут.

— Перед смертью он вам исповедался? — спросил Эрмин, записывая даты.

— В бреду он предупреждал то де Вриндта, то... других людей. Должно быть, случайно услышал про заговор.

— Вы знаете его друзей? — спросил Эрмин.

— Его доставил сюда невысокий чернявый парень, но он сейчас в Иерусалиме.

— Точно, в Иерусалиме. Наверняка, — ответил Эрмин. — Спасибо, больше мне и не требуется. Я же знал, больной не смолчит. Спасибо,

Арнольд Цвейг. Возвращение в Дамаск

доктор, сейчас отвезу вас домой. — Обернувшись к носилкам, он легонько погладил сложенные руки покойного, большие, исхудалые, в которых не было ни распятия, ни книги, они сжимали одна другую. Второй мертвый еврей в этой ужасной истории. Завтра списки иммиграционного ведомства, карантинного лагеря и пароходства укажут ему людей, которые наверняка знали друзей покойного.

ГЛАВА ПЯТАЯ

СМЕРТЬ СТАРИКА

Когда Мендель Гласс уловил взгляд и тон Эрмина и на ходу заметил, как англичанин посмотрел ему вслед, он до смерти перепугался — впервые за долгие годы. Напился воды, но пересохшее нёбо словно и не увлажнилось. Этот англичанин не иначе как лицо официальное. Некоторые презрительно утверждали, будто он из тайной полиции. Так говорил Левинсон, поздравив их с компанией этого шпиона и врага независимых рабочих. Если этот человек вправду полицейский, то он, Мендель Гласс, должен или незамедлительно исчезнуть, или ждать ареста. Он сел на одну из четырехугольных бензиновых канистр, в которых принесли воду и которые в Палестине используют везде и всюду, от строительства домов до приготовления еды. Благоразумие! Облокотясь на колени, он обхватил голову руками и старался успокоить дыхание. Хоть бы ветер разогнал жару! На вершине Кармеля он бы наверняка так страшно не перепугался.

Он сделал доброе дело, устранил изменника и вовсе не намерен отдавать себя на расправу людям, для которых живой изменник был источником политических преимуществ. До сих пор подозрений против него не существовало. Блох в Иерусалиме, ликвидирует оружие; бедный Шломо Виндшлаг умолк навсегда. И все-таки лучше бежать. В стране достаточно уединенных мест, где есть работа, требуется лишь небольшая протекция. Никто его не выдаст. Сейчас каждый молодой человек принадлежит к какой-нибудь боевой группировке; одни носят черные рубашки, другие — красные, третьи — коричневые; волею случая он носит синюю и ни к какой организации не приписан, но вполне может рассчитывать на понимание. Его группировка незрима, однако не менее реальна, чем другие. После войны, когда свыше тысячи четырехсот дней шло безостановочное убийство и невообразимые суммы денег тратились на истребление десяти миллионов людей, не говоря уже о начавшейся затем гражданской войне на Востоке, — поднимать после всего этого шум из-за исчезновения одного или нескольких негодяев не что иное, как буржуазное лицемерие. Нет, он без зазрения совести может более-менее довериться взрослому, зрелому человеку, скажем чернобородому инженеру. Не полностью, конечно, — он достал из пачки надломленную сигарету, закурил, — не полностью.

Услышав признание в убийстве, вероятно, здравомыслящие люди и те чувствуют протест и неловкость. Догадки же остаются догадками. Во всяком случае, тут он встал: что бы ни произошло, признания у него никто не вырвет, пусть даже ему придется откусить себе язык.

Кто это бежит — не врач ли, который пытался спасти беднягу Виндшлага? Доктор Филипсталь приблизился, лицо красное, весь в поту, глаза скрыты за темными очками.

Эли Заамен махнул рукой ему навстречу:

— Корабли, доктор! Их видно уже невооруженным глазом!

Филипсталь большими глотками осушил стакан воды, слегка отдающей бензином, отставил его.

— Весточка из Дганьи. Позвонили в больницу. Вы сейчас можете отлучиться?

Эли Заамен соорудил озадаченную мину.

— Если высадутся английские войска... А в чем дело?

— Нахман... — коротко сказал врач.

— Нахман? — воскликнул Эли Заамен.

Мужчины, находившиеся неподалеку, прислушались, подбежали, в том числе и Мендель Гласс, снова румяный, как обычно.

Фамилия Нахман в стране не редкость; но когда говорили просто «Нахман», то речь шла — ошибиться невозможно! — о старом сельскохо-

зайтвенном рабочем и философе, чья духовная аура питала религиозной силой строительство всей страны.

Доктор Филипсталь рассказал следующее. В больницу позвонили летчики из Цемаха. К ним добрался человек из Дганьи, просил врача для Н. Нахмана. На базе врача нет, но им удалось связаться с Хайфой. К сожалению, они не сумели толком объясниться с курьером, он кое-как сообщил по-английски о кровопотере, а жестами объяснил, что прострелено легкое. Филипсталь, самый молодой из врачей, вызвался поехать; в больнице «Хадасса» им дали машину с красным крестом. Тем не менее из-за деревенских стрелков поездка была небезопасной. На случай переливания крови доктор хотел взять с собой сильного, крепкого мужчину — чем больше выбор, тем скорее найдется подходящая для пациента группа крови. Отъезд через полчаса, от больницы. Барсина к тому времени придет пропуск.

Эли Замен не раздумывая сказал:

— Я еду с вами. — И добавил, скользнув взглядом по собравшимся: — Менаше останется за старшего. А мой краснощекий адъютант наверняка без ущерба для себя расстанется с пол-литром крови.

— Для Н. Нахмана хоть с литром, — сказал Мендель Гласс, — я бы вызвался добровольцем, если б вы меня не выбрали.

Эрмин пригладил усы, поправил тропический шлем и дружелюбно обратился к Филиппстало:

— Сегодня я могу компенсировать вам некую ночную поездку, если, конечно, вы возьмете меня с собой. Буду представлять мандатарий, что по дороге может оказаться полезно. Наши полицейские легко могут принять кислородный баллон за бомбу.

— Договорились, — согласился доктор Филиппсталь. — Если вы желаете взять кое-какие вещи...

— Ах, — улыбнулся Эрмин, — что нужно кавалеристу в военное время! Заскочим ко мне на квартиру, через десять минут я буду готов.

Мендель Гласс почувствовал, как невольно сжалось сердце, словно незримая рука схватила его за левое плечо. Усатый англичанин — сущий дьявол, вежливый, но тем хуже! Ладно, он принимает бой. В Хайфу определенно не вернется. Дганья расположена на Иордане — если он правильно помнит карту, на Генисаретском озере. На другом берегу — Трансиордания. Пора спешить в барак, собрать рюкзак, взять у десятника Левинсона справку, забрать паспорт. Инженер ему наверняка поможет. Кто, в сущности, этот англичанин? Глупый гой. С ним вполне можно справиться.

Весть о прибытии английских кораблей разносилась из уст в уста. Повсюду в городе радостные лица. Боев не будет, беда миновала. Машины с женевским флагом все желали доброго пути.

По арабскому кварталу ехали медленно. Многие арабы знали доктора Филипсталя, он помогал им, их женам или детям. До нынешних трагических дней они всегда благодарно с ним здоровались, позднее снова будут здороваться. Теперь же молча отворачивались. Шоссе через просторную равнину меж Кармелем и Кишоном позволило прибавить скорость. На перекрестках к ним подъезжали конные полицейские, холодные глаза осматривали автомобиль. Красивые кони словно бы насмешливо пританцовывали на стройных ногах. Дальше в глубь страны полицейские даже остановили машину, потребовали документы, расспрашивали. Эрмин им не препятствовал, наблюдал, как они исполняют службу. Они спросили, нет ли у шофера и Менделя Гласса оружия, проверили карманы на дверцах, собрались прощупать обивку. Это бы заняло много времени, и Эрмин вмешался. Полицейский-англичанин козырнул, отозвал своего арабского коллегу, машина продолжила путь. Шофер — уголки рта у него весело подрагивали — показал Менделю Глассу рукоять маузера во внутреннем кармане кожаной куртки, при этом он, держась за баранку одной только левой

рукой, на скорости девяносто километров в час ехал в гору. Немногим позже на том же участке дороги произошло злодейское нападение на автомобиль с актерами и гостями праздника, несколько человек были убиты и ранены; но сейчас не прозвучало ни единого выстрела. Езда среди унылого пыльного зноя — тяжелое испытание. На минутку они остановились в Нагала-ле попить кислого молока, узнали, что деревня и девичья ферма целы-невредимы, помахали на прощание. Направились в Тверию самой короткой дорогой, хотя очень хотели узнать, как обстоит с поселениями в Эмеке — Бальфурии, детской деревне, Кфар-Йеладим, Кфар-Йехезкеле, Эй-н-Хароде, Тель-Йосефе; путь через еврейские земли был бы надежнее, но доктор Филипсталь спешил. Он единственный во время трехчасовой поездки сидел как на иголках, молчал — не от страха... Назарет с его церквами и священными источниками спал, точно вымерший, в полуденной жаре; дорога поднималась в гору, к Седжере, где пересекала еврейские земли; справа на равнине лежала Кана. Здесь бы должна витать атмосфера Нового Завета, однако Эрмин ничего такого не чувствовал. Он давным-давно знал, как мало душевные переживания подкрепляли миф об Иисусе, галилеянине, если кто-то искал его в этом ландшафте, — ландшафт, скорее, был помехой; все эти старательно соору-

женные мемориалы слишком отчетливо являли свою запоздалую нарочитость. Гора Тавор в ее голом изяществе сохранила куда больше древности. Потом слева засверкало озеро; жгучее желание искупаться пришлось подавить. Было это под Мицпой. Уже недалеко Тверия, чьи стены, плоские крыши, купола и пальмы, казалось, окунались в озеро и не желали приближаться, хотя машина набирала скорость. В Тверии они чуть не задавили собаку, которая даже не подумала прервать свой пыльный сон. Вот справа остались знаменитые целебные источники; вплотную к густо запорошенным пылью прибрежным деревьям они промчались в сторону Дганьи, при сорока пяти градусах в тени. На крутом спуске молодому Менделю Глассу едва не стало дурно, сердце моталось в груди словно маятник. Да и остальные, изжелта-бледные, откинулись на спинки пыльных кожаных сидений. Все облегченно вздохнули, когда автомобиль свернул под сень серо-зеленых казуарин, эвкалиптов, высоких кипарисов Дганьи и остановился.

Встретили их две-три женщины и крупный мужчина с рукой на перевязи. Хозяйство не терпело безделья, нужно поливать цитрусовые деревья, доить коров, ухаживать за лошадьми, заботиться о детях. Кислородный баллон занесли в дом, как и докторский саквояж с инструментами.

Вчера вечером в густеющих сумерках старик спустился во двор, чтобы отвязать собак; видимо, его задела шальная пуля, выпущенная откуда-то издалека, прошла меж ребрами, самого выстрела никто не слышал. Нахман зажал рану, попытался дойти до дома, но у порога упал и лежал совсем тихо. Вероятно, его слабый голос никто не услышал. Лишь через некоторое время его нашли в луже крови.

Сейчас он находился в своей каморке — их здесь было много, крохотные кельи на одного или спальни на несколько человек. Дверь открыта; у постели раненого сидела детская сестра, которая и наложила ему повязку. Бородатый старик полулежал, опершись головой на подушки, глаза закрыты.

Доктор Филипсталь видел много умирающих; глядя на эти черты, он еще до осмотра стал опасаться худшего. Мужчины остались у дверей, он вошел, осторожно взялся за запястье, начал считать пульс, едва ощутимый.

— Слишком большая кровопотеря, — прошептала сестра, испытующе глядя на врача большими карими глазами.

Доктор Филипсталь озабоченно покачал головой. Потом приложил пальцы к губам: пусть старик поспит. В самом деле, он спал. Волосатая тощая грудь чуть заметно поднималась и опускалась под расстегнутой рубашкой. Они на цыпоч-

ках удалились, подождут рядом, когда раненый проснется. На случай перевязки и осмотра раны доктор Филипсталь выложил на марлю привезенные инструменты. Мы могли бы остаться дома, думал он. Будь он помоложе, можно бы кое-что предпринять, но в семьдесят два надежды мало.

Мухи или москиты упорно жужжали возле окон, затянутых марлей, которая не давала им проникнуть внутрь. Очень чисто, тихо. Мужчины, усталые от иссушающего зноя, дремали за столом, подложив локти под голову. Маленький Мендель Гласс заснул сидя. Когда можно будет умыться и перекусить?

Уже под вечер сестра знаком известила: раненый проснулся. Он узнал доктора Филипсталь; глаза плутовато смотрели из темных глазниц, словно глаза мудрого старого зверя. Инженеру Заамену он кивнул, с Эрмином поздоровался, несколько раз моргнув, приветливо присмотрелся к Менделю Глассу, который скромно стоял на пороге. Говорил старик тихо, медленно, довольно отчетливо, но дышал при этом очень осторожно. Зачем ради него вызвали сюда людей?

— Все хорошо, — сказал он, — мое время истекло, зачем столько суеты?

Менять повязку он отказался. Она хорошо приклеилась меж ребер и вполне сойдет до конца. Широкоплечий рабочий с правой рукой на перевязи тоже вошел, сел в изножии кровати.

Нахман спросил, все ли в порядке. Коровы, посадки — все в целости, овец пригнали с горных склонов без потерь, самое худшее, кажется, позади.

— Теперь остается только поднять тебя, Нахум, — попытался пошутить рабочий. Старик хихикнул, это прозвучало как тонкий, резкий свист.

— Меня, — сказал он, — меня вы опустите в яму, наверху, на склоне, в камнях. Не тратьте на меня плодородную землю, слышите? — Он замолчал. — Я любил этот край. И жил с удовольствием, хорошую жизнь прожил.

Все знали, этот чахоточный человек шесть с лишним десятков лет трудился на земле, сперва в Галиции, потом здесь. Добрых двадцать, а то и тридцать лет его спутницей была малярия, вкус хинина неистребим во рту.

— Чего мне еще желать? — сказал он немного погодя. — Я скоро умру, среди друзей, без боли. — С упрямством старого крестьянина он отверг все предложения врача: пусть его оставят в покое. — Испытывайте ваше искусство на молодых, — прошептал он с вымученной улыбкой. И, указывая на Менделя Гласса, спросил, что здесь нужно этому новому мальчику.

Доктор Филиппсталь объяснил, что мальчик приехал поделиться с ним своей кровью.

Нахман отрицательно качнул костлявой головой, седая борода лежала на рубашке.

— Мне твоя кровь без надобности, мальчик, — сказал он. — Вообще не надо больше проливать кровь. Не ищите, откуда прилетела пуля, не мстите, слышите? Через кары и месть мир пришел в упадок, в свое нынешнее состояние.

Доктор Филипсталь спросил, удалена ли пуля.

— Она сама ушла дальше, — прошептал старик, — она была посланницей земли, она исполнила свой долг.

Сиделка подтвердила: при перевязке пулю не обнаружили, вероятно, она действительно прошла навывлет.

Мало-помалу многие мужчины и женщины кибуца собрались у двери и в комнате; прошел слух, что приехал врач и что Нахман умирает.

Старик открыл глаза. Он видел лица товарищей, с которыми на протяжении поколения делил каждый кусок хлеба, бесконечные трудности первых семи послевоенных лет, медленный расцвет поселения, где не было ни частной собственности, ни льгот и где он изо дня в день трудился как равный среди равных. Под конец проку от него считай что не было, сказал он, хлопот друзьям он доставлял много, а благодарности они от него видели маловато. Съедал больше, чем зарабатывал, но никто его не попрекал.

Кто-то всхлипнул.

Он удивленно поднял глаза: слезы, когда он наконец уходит на покой, после жизни, так хо-

рошо прожитой до конца? Ему, как и всем, известно, что дальше не будет ничего, что их место — вот эта земля, их время — вот это время, что люди только сеют смуту, вечно жаждая и уповая на некий тот свет. Ему всегда нравился стих из Писания, где речь идет о семидесяти годах и о труде и болезни. Когда уходят молодые или люди в расцвете жизни — его взгляд скользнул от Менделя Гласса к Ленарду Эрмину и дальше, к друзьям, жмущимся у стены, затаившим дыхание, слушающим, заполняющим дверной проем, стоящим на цыпочках в коридоре, — тогда уместны испуг и печаль. Его же уход в порядке вещей.

Некоторое время он молчал с закрытыми глазами. Как же близко под дубленой морщинистой кожей кости скелета, как выпятился вдруг узкий горбатый нос, как резко проступили складки от носа к углам губ!

— Не ищите никого, — повторил он, — не мстите арабам.

Такая возможность, кажется, очень его тревожила. Он повторил эту фразу еще несколько раз; хмурый мужчина с рукой на перевязи успокоил его. Ведь пулю вполне мог выпустить еврей из отряда самообороны, один из собственных часовых, с той стороны долины, где расположены два других кибуца, а дальше еще несколько. Старик прямо-таки обрадовался.

— Вот и хорошо, — прошептал он, — вот и хорошо.

Нахман ощупью искал руку мужчины, который смог протянуть ему только левую. Он сжал ее худыми, натруженными пальцами, сказал:

— Большое спасибо всем, — обвел взглядом собравшихся, откинул голову назад, закрыл глаза. Из горла вырвался тихий хрип, из уголка рта вытекла тоненькая струйка крови.

— Оставайтесь с нами, завтра мы его похороним, — попросил «однорукий», к которому вроде как вполне естественно перешло руководство кибуцем. — Места для ночлега хватит всем.

Было бы замечательно, незабываемо на всю жизнь участвовать вместе с сельскохозяйственными рабочими Дганьи в похоронах Н. Нахмана.

Ночью, лежа под простыней на крыше, Мендель Гласс не мог заснуть. В нем что-то происходило, но что именно? Что общего между его деянием и смертью этого отжившего свое старика? Может, тихонько уйти прямо сейчас, сбежать от англичанина, который оказал ему честь неотступного сопровождения? Наверняка в такую жаркую ночь можно переплыть озеро — теплые воды он, без сомнения, одолеет за несколько часов. А на том берегу, в Тран-

сиордании, сообразит, как быть дальше. Внизу они бодрствуют возле умершего. И все же под каким-нибудь предлогом он сумеет пройти мимо них. Странно, что все это он только думал, лежа без сна, устремив взгляд к ярким звездам, но ничего не предпринимал. Умиравший смотрел на него по-особенному, отказался от его крови. Лучше бы он принял ее, кровь за кровь, своего рода возмещение. Тогда можно бы и сбежать с чистой совестью. С каких пор он, собственно, оробел? Разве мало он знал се-добородых евреев, знал и ненавидел, дома, в Проскурове? Странно все же, как этот Нахман не похож на его деда, городского раввина, на всех давних, закоснелых врагов, чахнувших над Талмудом. Хорошо прожить до конца такую жизнь. Вероятно, любая жизнь должна быть прожита до конца, ведь неестественно рубить полувывосшее дерево. Значит, ему не следовало трогать де Вриндта? Пусть бы жил дальше? И продолжал предавать? Или, может, само собой нашлось бы какое-нибудь решение, и в жизни де Вриндта тоже? И надо ли и ему, Менделю Глассу, просто жить дальше, ждать решения, не переплывать Генисаретское озеро, вернуться в Хайфу? Может быть, то, что замыслил англичанин, и есть надлежащее решение? Но от этой смерти веяло успокоением. Сдаваться он не станет, не сознается, но и не сбежит. Ведь

Арнольд Цвейг. Возвращение в Дамаск

бегство — он глубоко вздохнул — равнозначно полному признанию вины. О нет, мистер Эрмин, завтра вы увидите, как при погребении Нахума А. Нахмана я брошу в могилу три лопаты камешков.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Письмо

В прохладной гостевой комнате Барсины Л. Б. Эрмин лениво потянулся на кровати. За окном раннее утро, и залив сиял немыслимой синевой в кайме пламенеющего белого золота песка. Невооруженным глазом он мог пересчитать верхушки пальм, которые росли разрозненными рощицами, оставшимися от пальмового леса, который некогда опоясывал весь залив от Хайфы до Акко. В войну его пустили на отопление, как и три миллиона олив, — для страны, где мало деревьев, потеря изрядная, даже если прибавить сюда Сирию. Солнце пока что деликатно держалось за Кармелем; дом Барсины еще наслаждался тенью. Эрмин снова зарылся головой в подушки, закрыл глаза. После напряжения последних дней, после поездки по палящему зною в Иорданскую впадину он позволил себе расслабиться, подольше поспать, выкурить одну-две крепкие сигары. Смерть старого сельхозработного, его могила на склоне над Дганьей пробу-

дили в нем некоторые возражения против кочевой жизни, не говоря уже о том, что, просыпаясь утром, мужчина иной раз с удовольствием думает о женитьбе. Надо привезти себе английскую девушку, то есть сперва, конечно, влюбиться в нее — белокурое, сероглазое существо с добрым сердцем, здравым рассудком, красивым телом; она родит ему детей и быстро выучит здешний язык, чтобы стать хозяйкой небольшого салона, в благоразумной атмосфере которого смогут встречаться всевозможные здешние чудачки, приняховаться друг к другу и с удивлением констатировать, что пахнут они не смолой и не серой и ни рогов, ни хвостов не имеют.

Интересно, Барсина не против, если он покурит в постели? Хозяева выказывают такую забавную неприязнь к прожженному постельному белью. Здесь бы не помешал длинный рукав наргиле и зажатый в зубах его мундштук. Янтарный мундштук, дымчатый, потемневший. Вместо этого он достал из ящика ночного столика свою старую трубку, прикусил мундштук. С тех пор как матросы, примкнув штыки, стояли в карауле и патрулировали улицы, за чиновными столами вдруг снова сидели и командовали суровые мужчины. Распоряжения сыпались градом, запреты, аресты. Вечером на улицах чтоб ни души! Никаких газет, никакого распространения слухов! На сирийской границе огневые позиции против

бедуинских отрядов, коль скоро они пойдут на прорыв, то же на трансиорданской. И кого бы ни поймали с оружием — еврея ли, нет ли, — всех в Акко, в казематы старой цитадели, предъявить обвинения в убийстве трем, четырем, пяти десяткам человек! Если черт и впрямь так страшен, как его сейчас малюют, — снимаю шляпу! Но Эрмин знал, дело определенно обстоит иначе. На худой конец, и он тоже здесь. А пока что народ может снова заняться своими личными проблемами.

Л. Б. Эрмин думал обкатанными, круглыми мыслями. Лежал вытянувшись, шевелил пальцами на ногах, покусывал крепкими зубами трубку и подводил итоги. Каждому взрослому человеку известно, что ко всякой гипотетической возможности найдется и контрвозможность, столь же истинная. Сотрудник тайной полиции Эрмин поступал чрезвычайно мудро, так как действовал в деле де Вриндта с большой осторожностью. Сотрудник тайной полиции Эрмин действовал непростительно, вопреки служебным интересам, так как проявил в деле де Вриндта небрежность и халатность. Для ареста краснощекого мистера Гласса нет ни малейших, ну совершенно ни малейших оснований. Против ареста нет никаких показаний: этот человек вызывает серьезные подозрения; среди подозреваемых в убийстве ему принадлежит почетное

место. Но что конкретно имеется против него? Опять-таки ничего. Он был знаком с покойным мистером Виндшлагом — вот и все. Показания лагерной инспекции и часового у ворот карантина звучали весьма убедительно, пока не копнешь поглубже. Ну разумеется, они знали покойного Виндшлага; он был маленький, толстый и горбатый. Ах, не такой? У него сросшиеся брови, энергичная речь, носит имя Бер? Нет, так звали одного из его друзей. А какие еще друзья у него были? Да полно, целая куча. Боже упаси, возразил лагерный инспектор, этот малый всегда был один. Что от него осталось? Фото в паспорте. Паспортные фото всегда похожи на множество людей; в серьезной ситуации они даже до почтовой марки ценностью не дотягивают, могут изображать хоть Виктора Эммануила, хоть Вильгельма Второго, хоть современного раввина, да сегодня и мужчину-то от женщины толком не отличишь. Надежные сведения сообщили только двое — лагерный врач и врач из больницы, доктор Филипсталь, что доказывает силу университетского образования. Больной Виндшлаг, вероятно туберкулезный и страдающий тяжелой дизентерией, большей частью общался с двумя парнями, с которыми еще на судне делил каюту — места третьего класса на борту парохода водоизмещением пять тысяч тонн, который, наверно, ходил между Триестом и Хайфой еще во

времена императора Франца Иосифа. Эти двое молодых людей в конце концов сгустились для Эрмина в отчетливые фигуры. Один, загорелый, чернявый, с густыми бровями, энергичный, Бер Блох, как будто бы нашел работу в Хайфе, если Эрмин и агентство по трудоустройству имели в виду одного и того же человека. Вторым вполне мог быть тот мистер Гласс, которого Эрмин до сих пор неохотно выпускал из поля зрения. Если он решится и арестует его, вновь немедля наступят две противоположные возможности. В эти бурные времена арест еще одного рабочего-еврея по подозрению в убийстве мог пройти совершенно незамеченным; арест еще одного рабочего-еврея по подозрению в убийстве мог сейчас, когда страна гудит как растревоженный пчелиный улей, подтолкнуть весь рабочий класс Палестины к стихийной забастовке протеста. Что же делать?

Со вчерашнего дня в ящике ночного столика лежало письмо, трогательное послание его маленького союзника. Черт побери, теперь вообще ни у чего нет однозначного фасада! Эрмин развернул линованный листок с красивыми арабскими буквами, тщательно выведенными справа налево, и перечитал, подперев голову рукой, в третий или в четвертый раз. Письмо гласило: «Сидна Эрмин-бею, господину и другу, мир ему и привет. Как ты поживаешь? Как пожива-

ет твой верблюд? Как поживают твои дети, твоя жена и весь твой дом? Спасибо, у меня тоже все в порядке. Сердце мое в большой печали. Мы предали Отца Книг земле, и с тех пор мое сердце тоже в земле. Произошли большие беспорядки, много стреляли, многие мужчины ранены, унесли много убитых. Мы организовали отряд мальчишек, побывали всюду, лупили сыновей наших врагов, потому что они были врагами Отца Книг. Мои глаза в большой печали; но он пребывает на небесах с великими праотцами Ибрагимом, Исхаком и Якубом, и они воздают ему честь по заслугам его, которые велики. Увы, его дом сгорел, никто не приказал пожарным спасти его, не осталось ничего, кроме пепла и черного камня.

Знай, почему я пишу это письмо. Играя на кладбище у Баб-Сидхи-Мирьям*, мы нашли в стенном отверстии за камнем бумагу, а в ней пистолет. Замечательный пистолет. Он меньше моей ступни и не имеет ствола. И курка тоже нет, а если несешь его на груди, он совсем незаметен. Нести надо, повесив на шнурке на шею. Ты говорил мне, что Отец Книг — да пребудет его душа в раю — убит остроконечными пулями. Без крайней необходимости никто с этим замечательным пистолетом не расстанется. Так я подумал. Один я, а больше никто, потому что моя

* Ворота Девы Марии (араб.).

душа в тревоге из-за убийцы друга. С тех пор как нашли оружие, мы стережем то отверстие. Мы завернули пистолет в бумагу и положили на старое место, хотя двое из нас были против. Но мы проголосовали, и моих сторонников оказалось больше. Если бы вышло иначе, пришлось бы поколотить их всех, чтобы они мне подчинились. Возвращайся, когда сможешь. Убийца еще долго не подойдет к этому отверстию, потому что город поделен между евреями, полицией и нами, а ворота Девы Марии и отверстие расположены на нашей территории. И сообщаю тебе: когда дороги вновь будут свободны и каждый сможет ходить где вздумается, день и ночь это отверстие будет под надзором, и от наших глаз он не скроется. Кроме того, обнаружившему его обещано вознаграждение, но это касается только моих товарищей. Как бы мне хотелось, чтобы Отец Книг был жив, за это я бы и пистолет отдал. Мир тебе. Приветствует тебя множеством поклонов Сауд ибн Абдаллах эль-Джеллаби, ученик шестого класса».

Улыбаясь и вздыхая, Эрмин снова положил письмо в ночной столик. Зевнул, вообще-то пора вставать, умываться, плотно позавтракать и немедленно ехать в Иерусалим. Нельзя отрицать, его задача здесь выполнена, насколько это возможно. Наблюдение за мистером Глассом можно поручить смышленому местному полицейскому, а

самому отправиться туда, где происходят важные события. Иерусалим по-прежнему разделен на два враждующих лагеря? Мог ли еврей уже добраться до ворот Девы Марии и забрать маленький браунинг? Перед собой Эрмин видел серовато-белую стену, ее нетесаные камни, отверстия, над которыми пыльные опунции топорщили свои колючки, точно проволочные заграждения. Стена длинная, поднимается вверх по Кармелю. Странно, что ее не заняли сразу же, не устроили огневые позиции по ее периметру. Ведь там ползли вверх по склону серые фигуры в касках! Для них это чертовски хорошее укрытие. Слева затрещал пулемет (по тихой улице как раз промчался к гавани мотоцикл), и Эрмин все глубже погружался в сон о бое, который, собственно, произошел добрых двенадцать лет назад у Кеммельских высот. На лбу у него выступили капли пота.

Этим утром Мендель Гласс потолковал с десятником Левинсоном: он, мол, хочет сменить место работы. Ищет место, которое обеспечит постепенный переход к прочной и удобной жизненной обстановке. Грохот взрывов в каменоломне не для него, он человек мирный, не по душе ему каждодневные напоминания о войне и боях. (Вчера вечером в бараке он чисто теоретически обсуждал с товарищами индивидуальный

террор, под которым русские революционеры понимали покушение на отдельных лиц. Рабочие-коммунисты резко и презрительно отвергли эту идею, индивидуальным террором занимались ничтожные эсэры, социалисты-революционеры, и всем известно, многого ли они этим добились. Борьба классов, честная, беспощадная борьба диктатуры пролетариата против эксплуататоров не нуждается в таких детских взрывах отчаяния. А тот, кто, бессмысленно науськивая фашистов и полицию, ухудшает положение трудящихся, не может рассчитывать у них на ответную любовь.) Левинсон сказал, что сожалеет о его решении.

— Разве ты не хотел сохранить здешнее место за своим товарищем Бером Блохом? — спросил он на идише, так как не признавал другого еврейского языка.

Да, хотел, ответил, помедлив, Мендель Гласс, но Блох вернется из Иерусалима через несколько дней, как только дороги будут свободны. А ему как раз представилась через инженера Замена очень хорошая возможность. И во время простоя, возникшего из-за беспорядков, товарищи вполне могут день-другой обойтись без шестого члена бригады и, так сказать по умолчанию, соблюсти права Бера Блоха.

Левинсон кивнул. Он никогда еще не отнимал у товарища шанс.

— Голова у тебя хорошая, — сказал он, положив руку ему на плечо. — Если начнешь думать, по-настоящему думать, преодолеешь глупость вашего мелкобуржуазного аграрного социализма и наберешься смелости дать своему положению правильную оценку, какую давным-давно дали Люксембург и Ленин, тогда из тебя, может, что-нибудь выйдет. В этой стране коммунистические сочинения запрещены, а на идише ты читать не желаешь. Однако иные, бывало, удивительными окольными путями приходили к правильным выводам.

— Ты правда думаешь, — спросил Мендель Гласс, благодарный немногословному противнику за симпатию, — что только классовая борьба приведет нас к завладению средствами производства, и здесь, в Эрец-Исраэль, тоже?

Левинсон усмехнулся.

— Твой Эрец-Исраэль под англо-арабской полицией и при чисто арабском большинстве! А тебе известно, что, сколько бы у нас ни рождалось детей, арабы каждый год сохраняют десятипроцентное преимущество? Друг мой, сейчас буржуазия одаривает вас землей, посевным материалом и машинами, потому что вы защищаете ее от арабов. Но порасспроси как-нибудь на цементной фабрике внизу, на масляных прессах, на мукомольных мельницах насчет социалистической системы производства! А потом дай ара-

бу-рабочему созреть до понимания его стесненного экономического положения и делай с ним общее дело: вот тогда-то вы и увидите, что за социалистическую Палестину устроили англичанам и евреям.

Обдумывая услышанное, Мендель Гласс отправился домой к инженеру Заамену, на Кармель. Он жил там с красивой дамой, которая на пути из Иерусалима сидела на заднем сиденье. Мендель не любил создавать беспокойство, но ведь этот мерзкий Эрмин в любую минуту может что-нибудь затеять, да и Заамен велел ему зайти утром, около восьми.

Инженер, в расстегнутой рубашке, в белых холщовых брюках, в парусиновой кепке, уже поджидал его — за накрытым к завтраку столом на двоих под зонтичными кронами невысоких сосен. В доме женский голос пел по-русски песню — длинные, меланхоличные и все-таки веселые строчки. Вот, значит, как поют девушки из Одессы, думал Эли Заамен, странно, что мне выпало еще и это.

Он предложил посетителю стул, сигарету, чашку чая. Мендель Гласс, помедлив, согласился. Одну из чашек ополоснули, снова поставили на стол, налили золотисто-красного чая; нашелся сахар и лимон, хлеб и мармелад.

— Позор, — сказал Заамен, — в стране полно апельсинов, мировой рынок завален сахаром, и

никто здесь не откроет хорошей мармеладной фабрики. Мы же давно умеем варить мармелад не хуже, чем немцы и англичане.

Мендель Гласс рассказал инженеру, что в Европе судьба обходилась с ним очень сурово и он думал, что здесь будет несложно во всем этом разобраться. А выходит, заблуждался. Покончить никак не удастся. Вокруг постоянно крутится множество людей, но ему от этого ничуть не легче. И вот на обратном пути из Дганьи господин Заамен упомянул о поташной фабрике, которую наконец-то построят на Мертвом море. Он закончил хорошее реальное училище, имеет подготовку по химии и физике. Не может ли господин Заамен устроить его на эту фабрику? Он надеется, что в тамошнем уединении получит возможность хорошенько обо всем подумать и никогда не забудет господину Заамену этой услуги.

Эли Заамен удивился. Известно ли ему, какая там летом жара? Выдержит ли он работу в тропических условиях?

— Жара и влажность, — повторил он, — это не пустяк, а что до одиночества... вероятно, там его будет предостаточно.

Мендель Гласс не отступал: он хочет по крайней мере обязательно попытаться, если это вообще возможно.

Да, сказал Эли Заамен, возможно. Поташная компания добилась концессии всего несколько

дней назад; трудно было преодолеть нежелание отдать чрезвычайно перспективное промышленное предприятие целиком в еврейские руки. В тамошней воде — удобрения для всего мира; и хотя в настоящее время мир как будто бы в них не нуждается, все же неизвестно, как долго продолжатся загадочный экономический застой и перепроизводство сырья.

— Если вы всерьез хотите подписать контракт на полгода, я дам вам записку для главного инженера; он пока в Тель-Авиве и зачислит вас на работу. Работа тяжелая, но хорошо оплачиваемая, предприятие чисто капиталистическое, а климатически, как я уже сказал, там не просто. Мертвое море недаром лежит в самой глубокой впадине старушки Земли. Но если сумеете выдержать, то с годами, наверно, кое-чего достигнете.

Мендель Гласс сказал, что поедет в Тель-Авив сегодня же, только не знает, как добраться туда.

— Езжайте поездом до Лода, — посоветовал Эли Заамен, — а оттуда вас прихватит любой автомобиль, который привез пассажиров из Тель-Авива на железнодорожный вокзал. Поезд отходит в половине одиннадцатого. Деньги есть на дорогу?

Мендель Гласс поблагодарил. В каменоломне он заработал достаточно, чтобы купить билет до Лода и подыскать скромный ночлег. Если вско-

ре он поговорит с инженером, то сложностей не будет.

Эли Заамен ушел в дом. Мендель Гласс между тем сосредоточенно смотрел на серо-зеленые верхушки сосен, на синее небо, на камни кармельской дороги, потом скользнул взглядом к заливу, который увидит теперь нескоро. До чего красивый. И залив красивый, и места красивые, наверно, он все-таки сделал огромную глупость, только осложнил себе жизнь; но теперь он добровольно отправится на каторжные работы при пятидесятиградусной жаре, и если повезет и он выдержит эти полгода, не угодив за решетку, то, пожалуй, будет вправе считать, что искупил свою глупость. Слово «искупление» впервые закралось в его мысли.

Эли Заамен вернулся, пряча визитную карточку в великоватый конверт.

— Я вас там похвалил, — весело сказал он, — но вы не читайте; как-никак вы были моим адъютантом, хотя сегодня мы срочно демонтируем эту окаянную взрывную систему, уже без вас.

— Напоследок хочу попросить об одном, — задумчиво проговорил Мендель Гласс, пряча конверт в довольно толстом бумажнике из обтрепанной черной кожи, с порванными боковыми швами. — Буду очень признателен, если вы никому не скажете, куда меня рекомендовали. Большинству достаточно знать, что я уехал

в Тель-Авив и устроился там на работу. Фактически, — с лицемерной грустью добавил он, — с тех пор как умер Шломо Виндшлаг, никому нет до меня дела. А моему другу Беру Блоху я сразу же напишу в Иерусалим, сообщу, где он меня найдет. Наверно, скоро он приедет сюда, — добавил он, вставая и прощаясь. — Вдруг он тоже вам понравится, и вы поможете ему подыскать работу получше, чем в каменоломне.

Размеренной походкой Мендель Гласс направился к выходу из сада, Эли Заамен провожал его взглядом. Отличные ребята, добрый материал, чтобы строить родной дом. И как репьи цепляются друг за друга.

Возле чайника и завернутого в салфетку горячего яйца Эрмин нашел записку Барсины, что ему надо позвонить в Иерусалим. «Please call Jerusalem», — стояло там, а рядом, совершенно в духе педанта Барсины, указан час: 7.45.

Эрмин прекрасно выспался, во всем теле чувствовался приятный вкус безделья; ну что ж, сперва завтрак. Закурив трубку и обменявшись с хозяйкой дома пожеланиями доброго утра, он, сидя в качалке, спокойно называл в трубку секретный служебный номер своего иерусалимского телефона. Там наверняка сидит какая-нибудь важная птица, ерзает от нетерпения...

Звонок прошел, центральная, кабинет, голос черкеса:

— Алло, мистер Эрмин, рад вас слышать! Хорошие новости, мы его взяли.

— Кого? — спросил Эрмин. — Грабителя тринадцати автомобилей?

Но по проводам донеслось удовлетворенное:

— Убийцу мистера де Вриндта, конечно. Пришлось здорово поработать, с помощью нескольких арабских мальчишек.

Эрмин тотчас догадался: Саудово отверстие в стене у ворот Девы Марии. Владелец спрятанного пистолета. Но кто? Покойный мистер Виндшлаг бредил? И он, Эрмин, позволил горячным словам больного ввести себя в заблуждение? Все чаще оказывалось, что признаниям, предостережениям, утверждениям о соучастии верить нельзя, потому что их авторы вживались в роли, укреплявшие самооценку, часто под угрозой тяжких тюремных сроков и даже смерти. Помедлив, он попросил подробные данные.

— Имя: Бер Блох... Б, л, о, х. Рост метр пятьдесят пять, глаза карие, волосы черные, зубы хорошие, особые приметы: сросшиеся над переносицей брови. В стране менее шести недель, гавань и карантин в Хайфе.

Эрмина пронзило ощущение счастья: Бер Блох! Покойный мистер Виндшлаг, стало быть, не бредил, это второй из его друзей. Ура! И про-

стите, мистер Гласс, необоснованное подозрение. При случае отплачу вам чем-нибудь хорошим.

Хриплый голос черкеса смеялся в трубке, когда он продолжил рассказ. Парня взяли, так сказать, с поличным. Вчера сняли барьер, который делил Иерусалим на две зоны и нейтральную полосу посередине, «как наверху, у сирийской границы, только не пятикилометровой ширины». Этот Блох достал браунинг бельгийского производства из тайника, который держали под наблюдением, и три минуты спустя был арестован. Калибр оружия точно соответствует пулям, которые убили мистера де Вриндта.

— Он, конечно, отпирается, — говорил Иванов, очень довольный, потому что все так хорошо сошлось; отпирательство было железной составляющей любого преступления. — Твердит, что оружие не его; двое арабских мальчишек, дескать, предложили ему купить пистолет и показали тайник, если он надумает купить, — спрятали из-за запрета на оружие. Кроме того, он впервые приехал в Иерусалим на следующий день после похорон. Собственно, поэтому мы и позвонили. Этот дуралей говорит, что после выхода из карантина и до приезда в Иерусалим работал в Хайфе, на строительстве дорог — отряд взрывников, десятник Левинсон. Вот и просим мистера Эрмина безотлагательно разоблачить

этот обман и опровергнуть попытку оправдания. По его словам, о мистере де Вриндте он знает только то, о чем писали газеты, по-английски говорит прескверно, — гордо закончил Иванов.

— Погоди минутку! — сказал Эрмин. Сделал пометки на полях газеты, которую Барсина, отчеркнув кое-что красным, положил ему на стол вместе с завтраком, а Иванов меж тем продолжал:

— После этих выяснений шеф просит капитана Эрмина как можно скорее вернуться в Иерусалим. Здесь черт-те что творится. Вся администрация стоит на ушах.

— Могу себе представить, — подмигнул Эрмин. Он быстро прикинул, сколько времени ему понадобится: — В пять буду в канцелярии.

Отговорки этого Блоха пахивают присутствием духа. Если он и правда оставался в Хайфе до начала беспорядков, ни разу не покинув барак на ночь, то извлечение оружия из дыры в стене не очень-то много значит. Таких браунингов на черном рынке наверняка полным-полно. Десятника Левинсона подозревают в том, что он ортодоксальный промосковский коммунист, но они-то как раз презирают покушения, так что соучастником он быть не мог, и его показания будут решающими.

Пока Эрмин одевался, в голове у него, второясь, кружила одна мысль: значит, мальчик

Сауд оказал убитому последнюю услугу, сдал его убийцу в руки закона, грязным мальчишечьим кулаком свел на нет усилия мстителя, который действовал по долгу службы и дружбы, и сыграл роль судьбы, как во многом сыграл ее и для де Вриндта. Но Эрмин не страдал профессиональным тщеславием, по крайней мере в данном случае, и не завидовал успеху мальчугана.

Старый солдат, он умел собраться быстро, только на сей раз вызвал служебную машину к дому. Сперва в контору к Барсине, попрощаться, потом в каменоломню на склоне Кармеля, а потом в Иерусалим, где якобы творится черт-те что. Да уж наверняка, мрачно думал Эрмин. Он любил войнушку ведомств, эту исполняемую с запальчивой серьезностью человеческую комедию самооправданий и взаимных обвинений; живо представлял себе, как они сваливают друг на друга ответственность за тот или иной инцидент, размечают свои границы и ревностно их обороняют, заодно пуская все вразнос. Ничего, он сумеет защититься. Здешним симпатичным людям передаст привет через Барсину; он был рад, когда теперь спешил вниз по лестнице, держа курс навстречу последнему акту трагедии де Вриндта, хотя лоцманом был не Л. Б. Э., а Сауд ибн Абдаллах эль-Джеллаби.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ТАЕДИУМ ВИТАЕ*

Как человек, которого из тихой провинции заносит в многомиллионный город, где люди безудержно предаются пустым сиюминутным хлопотам, где сотни тысяч зазнаек упиваются всем, что способно умножить яркость жизнеощущения, словно пиявки на ногах коня, идущего через ручей, — именно так чувствовал себя Эрмин через несколько дней после возвращения в Иерусалим. В его добросовестном и осторожном уме еще жило разочарование, вызванное показаниями Левинсона, — удар такого рода, что вмиг вышибает тебя из предвзятой уверенности. Ему не терпелось доложить о своих разысканиях, самому допросить молодого Бера Блоха и, если не появится новых подозрений, выпустить его из-под ареста, перекрыть границы для Менделя Гласса, выяснить его местопребывание. Он бы поехал в Тель-Авив сразу же, если бы не настоящее

* Отвращение к жизни (лат.).

желание начальства видеть его в Иерусалиме. А теперь волей-неволей чувствовал, что в кабинетах, куда он заходил, в закрытых от солнечного света помещениях с белыми стенами, коричневыми столами, жесткими и мягкими стульями, дело де Вриндта уже попросту не существовало. Существовала сумятица новостей, гул трактовок, этакое безумное упоение взаимными обвинениями. По-прежнему случались покушения: едва не закололи кинжалом известного глазного врача, застрелили того или иного еврея; обоюдный бойкот разрушал торговлю. Ненависть и клевета правили бал в городе — но каждое ведомство, каждая маленькая канцелярия отчаянно стремились к тому, к чему в подобных случаях стремятся все на свете ведомства — остаться по возможности в стороне. Они либо все знали и предсказывали заранее, но никто, разумеется, их не слушал, либо не знали ничего, никакой информации не получали, с поистине непостижимым коварством их, именно их, держали в неведении, выставляли дураками, обходили. И тайная полиция как нельзя лучше подходила для вываливания такого мусора. Увы, Эрмину ли не знать, как часто его предостережения объявляли превышением служебных полномочий, он же, мол, не политический чиновник. А теперь, когда беда стала реальностью, все нервно теребили усы или стучали кула-

ком по столу: последствия! Но думали вовсе не о последствиях для родственников погибших, для раненых, для покалеченных, не о сосуществовании евреев и арабов, которое на годы лишилось простоты и естественности, — такие вещи в данный момент никого не интересовали. А вот о чем думали, о чем очень и очень тревожились, так это о последствиях для самой администрации, для чиновничьего штаба в стране. Боже милостивый и гора Синай! Чего только не слали из Лондона! Какие телеграммы, какие запросы в палате общин, сделанные разными партиями в своих целях! Какие «предварительные опасения» со стороны правительства, за которыми наверняка придут подробнейшие контрзапросы, с тем чтобы позднее предоставить авторам парламентских запросов максимально правдоподобные разъяснения; какие неприятные сложности с представителем в Женеве, какие жалобы евреев в Лиге Наций, за которыми определено последовали и жалобы арабов, просто по тактическим соображениям! И разве уже не создана парламентская комиссия, которая должна на месте установить истину, — гром и молния! Ах, творится в самом деле черт-те что. Вдобавок этот Эрмин — докладывает о дознании, касающемся убийства некоего де Вриндта! Де Вриндт? Это еще кто? Чем он важен? Ах, ну да, припоминаем, конечно, весьма прискорбно; но, дорогой го-

сподин Эрмин, времена изменились, речь идет о всеобщей судьбе, обо всей стране, кто теперь станет думать о деле де Вриндта? Второй английский фланг на Суэцком канале под вопросом, сэр, авиалиния между Лондоном и Карачи, артерия империи, проходит над палестинской территорией. Есть множество людей, которым очень бы хотелось видеть здесь другую мандатарную державу, средиземноморскую, соседнюю, ну, вы понимаете, весьма амбициозную, которая как раз замирилась с Ватиканом и может рассчитывать на поддержку католиков. «А вы тут говорите об одном человеке».

Необходимо срочно разобраться, полностью разобраться во всем, что связано с этими треклятыми беспорядками. Если ему угодно, можно включить это убийство в означенные материалы и расследовать вкупе со всеми остальными. В итоге, несомненно, выяснится, что здесь, как и повсюду, чиновники исполняли свой долг и администрация совершенно ни в чем не виновата.

— А на всем прочем поставьте крест. Позднее можете к этому вернуться, если через годик не забудете, друг мой!

Эрмин понимал, что сейчас без такого человека, как он, здесь никак не обойтись. Понимал интересы мандатария, весомые аргументы политических ведомств, замешательство Верховного комиссара, который, прервав отпуск, примчался

в Иерусалим, понимал профессиональные заботы чиновников (ведь и сам принадлежал к их числу), важность общей судьбы.

В эти недели он был очень энергичен, работал прекрасно. Только сожалел, что не поехал этим летом в отпуск, на что, собственно, имел полное право, а заодно разом избежал бы и этой чертовой августовской жары, и беспорядков. Он больше не говорил о де Вриндте и в ускоренном порядке добился освобождения рабочего Бера Блоха. Посмеялся он в это время единственный раз, когда лейтенант Машрум, услышав, что Эрмин в Хайфе разговаривал с коммунистами, предложил немедленно арестовать Левинсона и четырех его товарищей, а мистер Робинсон со вздохом облегчения отдал соответствующий приказ, поручив местным властям расследовать, в какой мере эти большевики, подстрекая феллахов, готовили мировую революцию. Только вот впервые после войны Эрмин потерял вкус к жизни. Не испытывал ни волнения, ни мировой скорби, ни необузданного протеста; то, что ему докучало, его предки называли сплином и относили за счет лондонского тумана, обременительных военных долгов после подавления Французской революции и низвержения Бонапарта. Некий немецкий протестант сказал однажды, что жизнь — это радость; подобные вещи запоминаются по школьным урокам религии. Эрми-

ну жизнь радостью не казалась. Он был слишком умен, чтобы ставить судьбу индивида выше судьбы масс. Сохранение государства и существование империи важнее дела об убийстве. Для некоего Менделя Гласса границы закрыты, этот краснощекий парень с задумчивыми глазами на заметке в паспортном контроле и в пароходствах. Но Эрмину больше не хотелось продолжать расследование, странным образом ему вообще ничего не хотелось. И нельзя не признать: виноват в этом сам покойный господин де Вриндт и его несусветные стихи.

Однажды утром его пригласили к мистеру Робинсону, в его голый кабинет, залитый холодным светом, единственное украшение — портрет его величества короля Георга V, висевший напротив письменного стола. Служители как раз заносили в кабинет стулья; совещание? — спросил себя Эрмин. Поздоровался с собравшимися — рабби Цадоком Зелигманом и королевским консулом Голландии — и снова увидел доктора Генриха Клопфера, университетского преподавателя, которого мистер Робинсон пригласил как эксперта.

От общины рабби Цадока поступило заявление, к которому прилагалось некоторое количество газетных вырезок, голландских, немецких, британских. Они намеревались устроить

поминальную церемонию по убитому ревнителю священного дела и хотели бы сообщить скорбящим, какие шаги предприняты для поимки убийцы. После телефонного звонка агудистов голландский консул не мог не присоединиться к их ходатайству. Было известно, что полиция арестовала подозреваемого и снова отпустила, однако иных успехов не предъявила. Так как же обстоит дело?

О подозреваемом мистер Эрмин мог со всей ответственностью сообщить следующее: этот человек прибыл в Иерусалим лишь через три дня после убийства мистера де Вриндта, что подтвердили пятеро свидетелей в Хайфе и двое шоферов в Иерусалиме. Подозрение против него опиралось исключительно на его намерение — опять-таки лишь согласно показаниям арабских уличных мальчишек — забрать из тайника оружие, которое с большой вероятностью могло считаться орудием убийства. Сам же подозреваемый, напротив, утверждал, что двое упомянутых мальчишек предложили ему купить это оружие и он пошел туда, просто чтобы посмотреть его. Другого преступника полиция пока не обнаружила, хотя следственные действия продолжаются.

— Потому что вы не хотите никого найти! — сердито вскричал рабби Цадок на своем польском иврите, с ненавистью глядя на невоз-

мутимое лицо мистера Робинсона, на его безупречный пробор.

— Это неправда, — коротко ответил Робинсон, когда Эрмин перевел восклицание на английский. — Оставляю на ваше усмотрение проведение поминальной церемонии и любые выступления ваших ораторов, которые могут говорить все, что им заблагорассудится. Но, с вашего разрешения, в тот же день в нашем скромном «Палестайн-Буллетин» я опубликую подборку стихов вашего богобоязненного героя, в голландском оригинале с английским подстрочником — прозаическим, вовсе не в стихах, но достаточно поучительным, если можно так выразиться. Ваш покойный проповедник имел весьма своеобразные представления о Боге, а его любовь к арабским мальчикам, на мой взгляд, носила весьма земной характер. Старый свинтус! — буркнул он как бы ненароком, себе под нос.

На лицах присутствующих отразились самые разные чувства, неприятное удивление, неверие, ужас, а Робинсон меж тем наклонился, достал из ящика стола черный портфель де Вриндта и извлек из его внутреннего отделения рукопись, среднего размера листы дорогой бумаги, исписанные черными чернилами.

— Это его почерк или нет? — воинственным тоном спросил он. И сам же ответил: — Его. Я

позволил себе кое-что отчеркнуть, — добавил он, передавая листы господину Тобиасу Рутберену. — Будьте добры, прочтите нам эти стихи в том порядке, в каком они пронумерованы, господин консул. У меня здесь точный перевод на скромный английский. И вот как эта душа беседует с Владыкой небесных воинств.

Тягучим голосом, весьма озадаченно, господин Тобиас Рутберен принялся читать, и после каждого стихотворения мистер Робинсон деловитым чиновничьим тоном оглашал английский подстрочник.

— Любовные стихи мы опускаем, — предва-
рил он чтение, — кто захочет, может сам с ними
ознакомиться.

Ты создал эту землю по ошибке.
Твой космос лишь смущает зеркала.
Ужель Ты там? Там ждут Твоей улыбки?
Твоей заботы жаждут и тепла?

Ты сам — князь тьмы. И я Тебя страшусь.
Меня с рождения приговорил Ты к смерти.
Когда с ухмылкой в гроб переселюсь,
Мне не поможет все Твое бессмертье.

Ползем вслепую, как в лесу улитки.
Швыряем мысли, как играем в кости.

А Ты железные закрыл калитки,
На гибель нас обрек, и смерть нас косит.

Нет избавителя, и нет пророка.
Но есть землетрясения и битвы.
Работы даже нет, и нет молитвы.
Есть ненависть, убийства, смерть до срока.

Пускай Тебя деревья восхваляют,
Рождая воздух чистый после гроз.
Машины человека поглощают,
Не ведая ни Господа, ни грез.

Твои уши забиты и воском, и шерстью, и ватой.
Твои руки — как кожа форели: слишком
скользят.

И Твой дух так высок, что всегда мы во всем
виноваты.

Ты нам, белым, подходишь: бессмертен, и
крепок, и свят.

Рабби Цадок медленно поднялся уже после первой строфы. Стал за спиной чтеца, чтобы заглядывать ему через плечо, недоверчиво, словно желая собственными глазами увидеть, что ему читают здесь как послание его друга де Вриндта. Никаких сомнений: его почерк, голландские

слова, произносимые консулом, — слова его друга, страшные кошунства. После последних строк он зажал уши ладонями и вышел вон из комнаты, почти пятясь задом, открыв рот и широко распахнув глаза.

Мистер Робинсон молча встал, чуть ли не парящей походкой шагнул за ним к двери и закрыл ее — закрыл торжественно, как бы закрывая таким образом все дело де Вриндта. Столь же медленно и бесшумно, олицетворение триумфа, он вернулся на свое место за письменным столом, спокойно обвел взглядом собравшихся и спросил, хочет ли кто-нибудь высказаться.

— Я нет, — ответил консул. — Где можно вымыть руки? — Засим он тоже откланялся.

— Для вождя богобоязненных евреев в самом деле немало, — изумленно сказал Эрмин.

Приват-доцент доктор Генрих Клопфер, привлеченный как эксперт в области поэзии, попросил рукопись. Несколько минут всматривался в голландские строки, в которых исходя из немецкого примерно угадывал ритм, выбор слов, звучание, сжатую форму.

Мистер Робинсон тем временем наложил резолюцию на заявление рабби Цадока, спрятал его в папку, насмешливо взглянул на ученого мужа. Тот вышел из задумчивости, сказал, что у него есть дело: библиотека университета располагает собранием рукописей и фотографий

знаменитых евреев. Начал его один австрийский ученый, задолго до того, как на горе Скопус приступили к постройке университета, которому оно теперь принадлежит. Нельзя ли ему получить эти листы для собрания — сперва временно, пока он не договорится с наследниками де Вриндта об окончательной судьбе означенных документов?

— Там они будут в надежных руках. Мы с удовольствием их перепишем, чтобы наследники при желании могли подготовить книгу. Этот человек был поэтом. — Доктор Клопфер встал. — Следовало бы догадаться. Мы сбережем эти листы.

Мистер Робинсон ненадолго задумался: кое-что говорило за и совсем немногое — против. Поэт поэтом, но лично он вовсе не стремился хранить подобные кощунства. Двумя быстрыми строчками он набросал расписку, на которой доктор Клопфер с удовольствием поставил свое имя. Получив рукопись с многократно зачеркнутым заголовком, он тщательно завернул ее в газету и попрощался, рассыпаясь в благодарностях.

Эрмин проводил его по коридорам. Оба молча шли по каменным плитам, шаги гулко отдавались от стен.

— Миром правят удар и контрудар, — вдруг сказал доктор Клопфер в продолжение своих

безмолвных размышлений, — но, чтобы они его не уничтожили, их надо уравнивать разумом.

— Вы полагаете, что разум дан нам для этого? — рассеянно спросил Эрмин.

Он не знал, что еще на это сказать, однако странная фраза застряла в памяти. Поэзия и афоризмы не его стихия, но одно он понял: о докторе де Вриндте отныне публично говорить не будут. Наверное, стремление к справедливости действует лишь в стабильные времена, когда усиленно трудятся над строительством культуры, цивилизации. Когда же основы всех этих построек, именуемых цивилизацией, шатаются, наверное, вообще бессмысленно обращать внимание на отдельные судьбы. Невелико удовольствие родиться в эпоху, когда война и послевоенные годы приучили людей видеть в одиночках ничтожные пушинки вроде тех, что разлетаются с отцветшего одуванчика, и дома, и повсюду.

Такие вот чувства с особой силой захлестнули Эрмина однажды во второй половине дня, когда он, спрятав глаза от яркого солнца под темными очками, машинально свернул у Дамасских ворот налево и очутился у обгоревшего остова дома, который был жилищем забытого теперь человека. И-да, размышлял он, глядя на черные остатки балок и руины стен и вдыхая запах гари, который пожарища распространяют еще долгие

недели, — н-да, стихия думала как администрация, как любой человек, как весь мир после войны. Нет больше господина де Вриндта, горсть золы осталась от всего, что ему принадлежало, смрадное дыхание бренности. Если память ему не изменяет, у него нет ни строчки, написанной рукою этого человека, даже тщательно сохраненный фрагмент письма из корзины для бумаг и тот написан на машинке. Он не раз собирался попросить у него экземпляры тонких сборников его стихов, а теперь все — опоздал! Может, еще удастся раздобыть эти книги, а может, их раскупили и после смерти автора более не переиздадут. Их содержание лучше подготовило бы его к тому, что стало козырем мистера Робинсона к уничтожению покойного: «Принесите нам полностью отработанное дело де Вриндта, и мы будем только рады. Надежность, признание, улики — короче, исключение любого провала. Но с “вероятно” и “почти наверняка” оставайтесь дома, друг мой. Никакого нового ослабления нашего престижа, ясно?» Да, такие удачи, пожалуй, бывали, однако ему, Эрмину, они не светили — по крайней мере, в деле де Вриндта...

Он постарался мысленно нарисовать на развалинах лицо покойного, слегка одутловатый овал, прикрытый сверху кипой, печальные глаза, выпяченную нижнюю губу, редкую рыжеватую бородку на щеках и подбородке — кажется,

похож. Возможно, дома сумеет закрепить этот контур, а возможно, и нет. Он любил порисовать карандашом, но нуждался при этом в живой натуре. Вряд ли получится с портретом господина де Вриндта; что ж, ну и ладно, придется и с этим примириться. В конце концов, никто не выбирает себе время жизни.

Неприметны искушения и знаки, подбирающиеся к человеку, чтобы все изменить. Однажды утром среди почты Эрмина обнаружилось письмо некой дамы, приглашение на чай от госпожи Юдифи Кавы. Он, конечно, очень занят, писала она, но, быть может, все же найдет время вечером в воскресенье заглянуть к ней в Тальпитот; она надеется, что он не откажет ей в услуге. Эрмин подумал: ладно, почему бы и нет. Зачем отказывать даме? Он помнил ее, прелестная, очаровательная, родом из России, разумеется, еврейка; вечер вполне может быть приятным, куда лучше скучного воскресенья в скучном клубе.

Госпожа Юдифь Кава встретила его так, как было принято у непринужденных молодых женщин этого послевоенного десятилетия, — в белом домашнем костюме с мешковатыми брюками, коротким жилетом и просторной блузой с широкими рукавами. Блестящие черные волосы до плеч, точно ухоженная курчавая грива, обрамляли узкую головку, а продолговатые

глаза смотрели на гостя — не забудешь. Эрмин дважды разговаривал с ней в Иерусалиме, она тогда была в вечернем платье, темном и простом, и дважды видел ее в Хайфе, в сопровождении того инженера, который не был ее мужем и очень ему нравился. Симпатия к мистеру Заамену распространилась и на очаровательную женщину, которая, по-товарищески встретив его и с изяществом хозяйки дома подав чай, разговаривала с ним как умный юноша. Они сидели на выходящей на восток террасе, затененной стеною дома, взгляд скользил по белым холмам, по наполненным синими тенями ущельям до красноватых склонов моавитских гор. Если стать слева у перил, то вдалеке внизу виднелась сверкающая синяя гладь в форме дуги: кусочек Мертвого моря, в добрых сорока километрах отсюда по прямой; прежде солидная шести-семичасовая поездка верхом, а теперь благодаря автомобилю окрестности Иерусалима. Эрмин невольно залюбовался этой картиной, потом вернулся в матерчатый шезлонг; его пиджак давно висел на дверной ручке, госпожа Юдифь не забыла даже приготовить плечики. В белой рубашке поло, белых брюках и белых ботинках Эрмин походил на спортивного знакомого молодой дамы, которая в свой черед походила на прелестную смышленную европейку, каких теперь во множестве встречаешь в крупных городах. Война и ее последствия

принесли им свободу, уверенность в себе, физическую тренировку, раскованность, которая делала общение с мужчинами непринужденным, не лишая его очарования.

— Вам требуется от меня услуга, — в конце концов напомнил Эрмин, — я охотно сделаю что-нибудь для вас.

— Услуга не совсем обычная, — тотчас ответила она, — причем, скорее, в интересах моего мужа, нежели в моих.

— Хорошо, — любезно отозвался Эрмин, — говорите, прошу вас.

— Вы видели меня в Хайфе, мистер Эрмин, на Кармеле, с господином Зааменом. Между мною и моим мужем существует договоренность, негласная, но не потому, что мы робеем облечь ее в слова. Мы ощущаем живую связь друг с другом, очень друг другом дорожим, прекрасно работаем сообща, короче, между нами все в порядке. Наше негласное соглашение таково: мы друг за другом не шпионим. Молодым остаешься, пока имеешь свободу действий, чтобы прочувствовать все стороны собственного существа, — молодым и работоспособным.

Эрмин хмыкнул.

— Да-да, — с жаром ответила госпожа Юдифь на его молчаливые возражения, — так оно и есть. Мужчины и женщины — многоголосые инструменты, они устают и стареют, если на них

играют лишь в одной тональности. Врачи и те уже это понимают. Ситуация была бы совершенно спокойной, не будь милых соседей. В Иерусалиме, конечно, девяносто тысяч жителей, но вам ли не знать, из скольких мелких городков он состоит, короче говоря, с моего отъезда двух дней не прошло, как некая заботливая душа засыпала моего мужа сообщениями, что я вряд ли вернусь в Иерусалим, я-де покинула дом и взяла ключи с собой.

— Прелестно, — сказал Эрмин. — Причем ваш муж наверняка и без того беспокоился, учитывая телеграммы в газетах, вы же понимаете.

— Еще бы, — кивнула госпожа Юдифь, нахмутив брови, — как раз это и скверно. Моему мужу важно только одно: найти меня неизменной, расположенной к нему. Мы не держим друг друга под замком, но и не подводим друг друга. Правда, целиком исключать неожиданности нельзя, и тот, кто любит, живет в тревоге за любимого, как я где-то читала.

Эрмин подумал, что о нем никто не тревожится. Серое уныние, которое донимало его в последнее время, было бы куда легче вынести, если бы и о нем какая-нибудь женщина сказала такие слова. Что ж, в следующий отпуск — на Рождество! У него, конечно, бывали отношения с женщинами — вполне милыми, предупреди-

тельными. Но... вот именно, но. Надо иметь подле себя что-то полноценное.

— Ну что тут скажешь! — продолжала госпожа Юдифь. — Из Хайфы, «с экскурсии», я написала ему открытку, когда пакетбот как раз забирал почту, однако затем он довольно долго не получал от меня ни единой весточки, зато это подлое письмо. Он несколько раз телеграфировал, а под конец я получила от него две довольно-таки взволнованные страницы: неужели я настолько опрометчива, что бросила нашу квартиру и наши книги на произвол судьбы и так долго остаюсь в Хайфе? В кругах, близких к университету, особенно в настроенных враждебно, нам могут в результате устроить неприятности, создать скандал, поставить его перед выбором: развод или уход с преподавательской должности. Мой муж любит свою профессию и любит меня, и нам совершенно не хочется, чтобы сплетни нарушали нашу гармонию. А с той дамой я уж как-нибудь рассчитаюсь. — Мелкими острыми зубками она прикусила нижнюю губу, потом рассмеялась, сплела руки на затылке. — Чтобы заткнуть людям рот, моему мужу необходимо убедительное письмо джентльмена, что непосредственно после моего отъезда Тальпиот был эвакуирован и занят войсками и что до полного умиротворения страны возвращаться в Иерусалим было бы сумасбродием. Что, далее, в день моего приезда

в Хайфе разразились беспорядки и мы на Кармеле сидели в осаде, пока не подошли военные корабли, так что я никак не могла ни написать, ни послать телеграмму. Поскольку вы находились в том же положении, что и я, то писали бы как очевидец, заинтересованный лишь в правдивом изложении событий.

Да примерно так все и происходило, подумал Эрмин. Мелкие отличия незачем принимать слишком всерьез. Коль скоро жизнь отдельного человека теперь мало что значит — почему бы не опровергнуть беспардонную клевету мелкими улучшениями реальности? Ведь теперь все это не важно — в смысле так, как было важно до войны и как, надеюсь, опять будет важно позднее.

— Что ж, я охотно все подтверждаю, миссис Кава, — сказал он. — Это ведь правда, в общем и целом.

Юдифь покраснела от радости, смуглая кожа наполнилась жаркой жизнью.

— Вы очень добры, мистер Эрмин, — сказала она. — Жаль, вы неженаты, я бы с удовольствием оказала вам такую же услугу.

Эрмин рассмеялся как мальчишка. Господи, подумал он, бедная миссис Эрмин! Она еще даже не выбрана, а союзница уже обеспечивает мне алиби. Почему бы нет? Семь девятых жизненных трагедий можно было бы вот так по-друже-

ски устранить; остальных двух девятых вполне бы хватило в качестве материала для будничных трагедий.

Она подошла к нему, легонько и весело поцеловала в усы, сказала:

— Как вы хорошо выбриты, капитан! — и ушла в дом за бумагой, чернилами и ручкой.

Между тем Эрмин, пронизанный теплом, лежал в своем шезлонге. Ему чудилось, будто он непрерывно качает головой над нею, над собой, над временем, над человеческой жизнью.

— Я знала, — сказала она, возвращаясь легкой походкой, — что могу на вас рассчитывать. К господину Заамену я, как вы понимаете, обратиться не могла, а малыша Менделя Гласса, который сейчас работает на Мертвом море, втягивать не хотела. Кстати, незадолго до беспорядков мы подвезли его из Иерусалима в Хайфу, у нас в машине было свободное место, а шоферы, знаете ли, создали своего рода братство по перевозке безденежных путников.

Эрмин перепугался, больше того — пришел в ужас. Вздохнул, едва не забыл выдохнуть, благо-разумно не открывая глаз.

— На Мертвом море? — сонным голосом спросил он. — Там, где вы показали мне кусочек синего зеркала?

— Там строят поташную фабрику, — пояснила она. — Господин Заамен сделал его своим

адъютантом и в конце концов подыскал ему там место. По его просьбе.

— Свидетельство рабочего вам, пожалуй, не очень-то пригодилось бы, — сказал Эрмин, испытывая почти непобедимое желание вскочить, затопать ногами, разломать шезлонг.

Теперь можно взять это дело в свои руки. Поцелуй очаровательной женщины взволновал лишь слегка, потому что его одолевало отвращение к жизни. Теперь же его пронизал ток, рванул вверх, поставил на ноги. Вид врага возбуждал послевоенного человека больше, чем приветливость молодой дамы. Он встал, вытащил ручку из висевшего на плечиках пиджака и спросил:

— Так что же мне написать? Диктуйте!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

НА МЕРТВОМ МОРЕ

Дорога из Иерусалима к Мертвому морю в течение часа снижается на тысячу двести метров. Машина одолевает спуск на пониженной передаче, подывая и напевая. Работать мотору особо не приходится, главное, чтобы не отказали тормоза. Мужчина за рулем едет в одиночестве, в зубах у него трубка. Брать с собой пассажиров не входило в его намерения, хотя в шабат, во второй половине дня, каждый охотно окунает купальный костюм в самый странный соленый водоем на свете. (Садиться в машину нужно не в городе, а за его пределами.) Светло-серое шоссе убегает в темно-синее небо, поворачивает, извивается, порой немного поднимается в гору, хотя на самом деле все глубже ввинчивается в горные ущелья, устремляясь прямо на восток. Водитель Эрмин кой-чему научился у ботаников и геологов университета: сразу за Масличной горой граница средиземноморской растительности остается позади, начинается пустынная флора. В пустыне

действует закон кровной мести и строго отмеренного возмездия. У пустынных племен случается, что отец в гневе бьет сына, а тот за это убивает отца, но племенной суд его оправдывает.

Итак, он, Л. Б. Эрмин, едет через пустыню. В кармане брюк прорисовываются очертания пистолета.

Горы теперь тоже меняют очертания. Они похожи на округлые звериные туши, обтянутые серым бархатом, на могучие слоновьи ноги, на гигантские черепа. Светло-серые, с виду бархатистые, нигде на свете Эрмин не видел таких гор. Все дело в выветривании от солнца, ночного холода и пустынного песка. Да, песок и ветер сглаживают углы, скругляют, моделируют женственные формы. Красавица госпожа Юдифь оказала ему услугу, все равно что исцелила рану. У рабочего Менделя Гласса сегодня выходной, вряд ли он сумеет уклониться от разговора. Возможно, он отправился в город Иерихон, чтобы под сенью запорошенных пылью пальм, отяжелевших от плодов апельсиновых деревьев или широколистных бананов выпить чего-нибудь прохладительного. Иерихон невелик, разыскать парня не составит труда.

На определенной глубине ниже уровня моря отказывает слух. Словно призрачная вата затыкает слуховой проход, у некоторых людей кружится голова, некоторых тошнит. Эрмин

чувствует, как закладывает уши, трубка не доставляет ни малейшего удовольствия, однако скорости он не сбавляет. Он спешит, хочет поскорее вернуться, автомобиль обеспечивает независимость. Слева вдали маячит Иерихон, широкий Иордан вталкивает свои пресные воды в густые соленые воды озера; вот и оно, навстречу приезжему выгибается самая северная бухта. Зеркало моря теряется вдали, окруженное желто-бурыми горами.

Соленое море, Ям га-Мелак, чуждая синева, синее, чем Средиземное, и ветер, который в этот час, налетая с открытого моря, падает вниз со скальных обрывов, будоражит его, гонит волны на берега. Так странно, что Яффская бухта, если перенести ее сюда, оказалась бы на высоте четырехсот метров и с невероятной мощью рухнула бы вниз, истребив и утопив все живое, — Ниагарский водопад, только в миллион раз мощнее. Здесь, в этой диковинной впадине, отгороженной известняковыми кряжами, раскинулось горное озеро величиной с Боденское, восемьдесят километров в длину, сплошной ядовитый соляной раствор.

Машина мчится по дороге, вокруг равнинный ландшафт. Здесь проложили новое шоссе, без перекрестков и постороннего транспорта, исключительно для предприятия, чьи плоские бараки и металлические конструкции отчетливо

виднеются вдали. Они словно бы не приближаются, хотя мотор работает на полных оборотах, завывая во все свои лошадиные силы: стрелка скорости постоянно забегает за отметку сто километров в час, он удерживает ее на ста десяти — замечательная гоночная трасса! Но мимо пролетают только обочины шоссе, строящаяся фабрика по-прежнему далеко, отчетливая и крошечная: волшебство атмосферы, ее прозрачности и света. Наконец справа завиднелась вода, чистая, хрустальная до самого дна вода, искрящаяся рябью, она рисует круги теней на гладкой донной гальке — бог весть, приглашает ли искупаться. Но за мерцающим очарованием неосторожных караулит смерть, неприятная смерть, потому что — повторяю! — эта впадина заполнена отравой. По всей огромной длине, ширине и глубине озера — дно еще на четыреста метров ближе к земным недрам — там нет живых существ; вероятно, это единственная на свете водная стихия, где не выживает ни зародыш растения, ни животная клетка, ничего!

Когда рухнули большие перемычки между Азией, Африкой и Европой, а в ходе вулканических тысячелетий поднялись горы и воды покинули Сахару и вылились туда, где сейчас раскинулось Средиземное море с его длинными бухтами, тогда возникла и впадина, по которой ныне течет Иордан. Проникшее туда море

наткнулось на огромные соляные месторождения — соли калия, фосфора, брома и йода — и размыло их. Когда позднее земля мало-помалу вновь поднялась, обратила к небу свой безгласный лик, в этом желобе остался вытянутый в длину водоем, прозрачный и коварный, заслуживший оба названия, какие ему впоследствии дали люди, — Мертвое море и Соленое море, — ибо в нем свыше двадцати пяти процентов растворенных ядовитых веществ. Рыба там жить не может, ведь ей бы пришлось дышать этими ядами, и очень скоро она бы всплыла брюхом кверху, нет и чаек, ведь им нечего есть. Человек может спокойно войти в воду и будет плавать, даже если никогда плавать не умел. Но если он неосторожно погрузится с головой и хлебнет воды, если не защитит глаза и вода попадет в нос, от последствий купания ему не поздоровится. Дивная, сверкающая на солнце поверхность воды — кто хлебнет много, умрет; кто хлебнет немножко, все равно заработает отравление бромом и фосфором. Под белой рубашкой и белыми брюками у Эрмина купальный костюм, и здешнюю воду он знает. Подъезжает на машине к самому пляжу, останавливается, выходит, раздевается, заходит в воду; вода теплая, но тем не менее охлаждает и освежает, поскольку воздух в тени раскален выше сорока... Эрмин ложится в несущую стихию, лениво, словно в пуховую перину,

но бдительно следит за равновесием, не позволяет ни ногам резко дернуться из воды, ни голове опуститься слишком низко, — так приятно покоем в этом ядовитом соусе. Мысли кружат в мозгу — и в конце концов он решает, как надо действовать...

В проходной Эрмин сообщает: посетитель к рабочему Менделю Глассу. Промышленный шпионаж — именно по этой причине даже в здешнем тихом уединении так отгораживаются от любопытных. На свете хватает химических предприятий — пусть хранят свои секреты, но и мы дорожим своими, наверняка думает руководство. Однако Эрмина пропускают. Рабочие живут в отдельном поселке, в легких приземистых бараках, в каркасных домах, обшитых фанерой и продуваемых ветром. Услужливый человек объясняет Эрмину, как проехать. Сегодня шабат, все отдыхают. Рабочий Гласс, вероятно, сидит в столовой, в общих комнатах, а может, спит или купается.

Рабочий Мендель Гласс действительно сидит в полной воздуха тенистой столовой, пишет письмо. Эрмин обнаруживает его сразу, как только открывает дверь и неторопливо заходит внутрь. Рабочий Гласс весьма изменился. Эрмин делает такой вывод, направляясь к нему: он похудел, подрос, загорел до черноты, лицо кажет-

ся взрослее и уже, только глаза, как раньше, спокойно смотрят на бумагу, которую он не спеша заполняет строчками.

— Добрый день, господин Гласс, — приветливо здоровается Эрмин, усаживаясь рядом на длинную скамью возле длинного стола, загорелый, мускулистый мужчина в черном купальном костюме, в шляпе и с трубкой в зубах. — Пожалуйста, не беспокойтесь, пишите. Забавно ненароком встретить вас здесь. Я искал пиво, заглянул в здешние магазины и вдруг в окно увидел вас и подумал: черт возьми, знакомое лицо.

Мендель Гласс, пожалуй, бледнеет. Пожалуй, загорелая кожа становится чуть светлее. Думает он, во всяком случае, быстро и четко, пока приносит англичанину чистый стакан и без спешки наливает пива из своей бутылки. Результат таков: принять бой. Бежать невозможно, спрятаться тоже негде; возле столовой стоит машина англичанина, а в ней, вероятно, оружие. Но Мендель Гласс не боится. Что бы ни произошло, все к лучшему. Если его арестуют и отвезут в Иерусалим, он сменит удушливый ад этой раскаленной низины на прохладные, приятные стены тюрьмы на высоте восьми сотен метров, то есть на санаторий. Доказать они ничего не докажут. Признание — такого удовольствия он им определенно не доставит. Свидетели обвинения? В живых только один, по имени Бер Блох, и он

давно сообщил, как его арестовали и опять отпустили, — пистолет принадлежал вовсе не ему.

Мендель Гласс неторопливо закончил письмо, надписывает конверт. Письмо адресовано в Европу, женщине по фамилии Раппапорт; Эрмин доволен, что не матери. Не то слишком походило бы на кино.

— Вы окажете мне услугу, — говорит Мендель Гласс, облизывая клееный край конверта, — если захватите его в Иерусалим. Тогда оно быстрее уйдет.

Эрмин конечно же согласен, пытается даже сунуть конверт в карман купального костюма, у которого вовсе нет карманов, смеясь, ловит себя на этом движении и предлагает:

— Давайте допьем и, если не возражаете, прокатимся на лодке, я видел на берегу лодки, они наверняка в вашем распоряжении.

Как товарищи, они садятся в машину; Мендель Гласс в рубашке и брюках, Эрмин в купальном костюме, с письмом в руке, которое кладет в плоский карман на дверце машины, при этом он чувствует: пистолет на месте. Забавно, однако ненависти нет. Где его боевой задор? С прошлого воскресенья духовный образ противника держал его на взводе. Да и сам противник, собственно, уже не тот человек, что убил его друга. Он отмечает это с тайным удивлением. И все-таки он, разумеется, выполнит свое намерение,

только удовольствия, кажется, не получит, не испытает сурового ощущения, что помогает свершить правосудие, выправить искривленный мир хоть в одной крошечной точке. Я же не Гамлет, думает он, запуская мотор, Гамлет в купальном костюме, газующий на красивом маленьком родстере, — слишком уж комичная картина...

Лодка отплывает от причала, молодой Гласс, естественно, сел на весла, как хозяин, решивший покатать гостя. Эрмин у руля. Оба на равных, а именно безоружные, привыкшие использовать мускульную силу; Эрмин приобрел эту привычку на площадке для гольфа, а Мендель Гласс — занимаясь тем странным мужским спортом, который называется работой и в котором больше страсти, чем все думали, пока мировой кризис не отнял у двадцати миллионов человек возможность заниматься этим спортом. Так чудесно плыть по удивительному озеру, хотя грести немного труднее, чем на любом другом. Вода создает большее сопротивление, зато лодка движется быстрее и погружается не так глубоко. Господа с фабрики хотят купить катер, рассказывает Мендель Гласс. Его фигура рисуется на фоне неба, чуть смещенная вбок; во время гребли никто не может сидеть точно посередине, потому что руки неодинаково сильны. Катер, понятно, удобнее и быстрее. На другом берегу, говорят, есть горячие серные источники,

весьма целебные. От парусных лодок здесь мало толку. Его коллеги как-то раз при хорошем ветре вышли на середину озера, а там ветер вдруг взял и стих, они пытались сдвинуть тяжелое судно с противовесом и за целый день прошли-таки на веслах некоторое расстояние, потом неожиданно опять поднялся ветер и за семь минут доставил их к берегу.

— Хорошо, что ветер был подходящий, мистер, — говорит он.

— На веслах тоже хорошо, — спокойно произносит Эрмин. — В самый раз для нас. Если хотите, я вас подменю.

Сейчас вокруг только вода, чудесного синевато-зеленого цвета. Отражение лодки словно единственное живое существо, исчерна-зеленая глубина теряется в бездне. Мендель Гласс рассказывает о трудностях, какие пришлось преодолеть, чтобы закрепить длинные насосные трубы на нужной глубине. Вода не желала удерживать их внизу, ныряльщикам пришлось крепко потрудиться.

— Но внизу раствор гуще, понимаете. И он упорно не поднимался по трубам, делать нечего, начинай все сызнова, трудная задача, как строительство моста.

— Приятно с вами беседовать, мистер Гласс, — говорит Эрмин, — но как насчет того, чтобы минут пять потолковать о наших небольших личных

счетах? Свидетелей здесь нет, нас только двое. С другой стороны, отпираться глупо.

— Отпираться? Вы о чем? — спокойно спросил Мендель Гласс.

В этот миг Эрмин обнаруживает, что вправду вообще не говорил этому человеку, в чем его обвиняет. Поразительно, хотя вполне понятно. Мысленно он так часто с ним спорил, так часто без обиняков говорил ему о его преступлении, что вообразил, будто его сразу поймут. Но если Мендель Гласс невиновен... обвинение так или иначе надо выдвинуть, то есть произнести вслух.

— Вы застрелили моего друга де Вриндта, — коротко говорит он. Его злит, что он вынужден это произнести. Не стоит господину Глассу продолжать в таком духе.

Мендель Гласс умеет играть в шахматы, знает, что при каждом ходе важно просчитывать следующие. Изображать невинность, негодовать, сожалеть, что мистер Эрмин потерял друга?

— Мистер Эрмин, — говорит он, — ваше заявление прямо-таки чудовищно. Вы всего несколько месяцев шапочно знакомы со мной, видели меня в Хайфе, сегодня разыскиваете в бараке и говорите мне в лицо, что я убийца. Вы поступаете так потому, что я простой рабочий? И заговорили бы иначе, будь я, как и вы, джентльменом? Какие у вас основания подозревать именно меня? Я искренне сожалею, что вы потеряли дру-

га, но меня в это дело впутывать незачем. Твердо установлено, что мистер де Вриндт убит каким-то арабом по причинам личного характера.

— Твердо установлено? — спрашивает Эрмин. Ага, вот она, ярость. Он бы с легкостью мог схватить сейчас этого хладнокровного мерзавца и вышвырнуть из лодки, слегка придушив.

Но Мендель Гласс спокойно отвечает без малейшей насмешки:

— Что на свете твердо установлено? То, что объявляет таковым общественное мнение. Общественное согласие после войны осталось единственным критерием, и общественное мнение, которое только и имеет вес, высказалось по делу де Вриндта.

— Арабское тоже, — говорит Эрмин, глядя на его сильные руки.

Мендель Гласс оживленно восклицает:

— Вот именно! Одно общественное мнение верит тому-то и тому-то, соседнее — прямо противоположному. Кто прав? Где на свете есть еще неskomпрометирующая инстанция, которая могла бы выступить арбитром, нравственная сила?

— Вы прошли хорошую школу, мистер Гласс, — замечает Эрмин. — В ваших ешивах и гимназиях хорошо учат думать. Вы очень четко ухватили главную проблему нашего времени. Только вот кое-что проглядели. Проходит неко-

торое время, и правдивое пробивает себе дорогу — всюду.

— Да, — тотчас отвечает Мендель Гласс, — а равно и ложное. Насилие обеспечивает правоту, так ныне происходит практически повсюду — в Африке, в Азии, в Европе, повсюду. И все же это считается безнравственным.

— Абсолютное в наши дни находится в тяжелом положении, — с готовностью соглашается Эрмин. — Я в восторге, что могу вести с вами столь платоническую беседу. К сожалению, продлится она недолго. Ведь вы упускаете из виду один абсолютный момент: волю человека, который составил себе твердое убеждение. Как он к нему пришел, несущественно. Главное, убеждение составлено, и он от него не отступит. Я уверен, что и вы по причинам, в которых я не стану здесь подробно разбираться, были убеждены, что господин де Вриндт вредитель и заслуживает смерти. На основе своей убежденности вы и действовали, ну а я действую на основе своей.

— Очень сложно, — отозвался Мендель Гласс, ероша волосы на висках. — Если отвлечься от моей персоны, то вы, стало быть, обвиняете некоего человека в политическом убийстве. И признаете за собой такую же убежденность, как у него: в свою очередь совершить убийство, если я вас правильно понимаю, причем неполитическое?

Черт побери, подумал Эрмин, вот это да. Он сидит в лодке на Мертвом море, его собеседник плещет веслами, а попутно ведет дискуссию, неожиданную и изящную, как в лучших кругах его оксфордских времен.

— Наша беседа, — саркастически заметил он, — безусловно достойна наилучшего дискуссионного клуба, который когда-либо обращался к нравственным проблемам. Стало быть, вы ставите знак равенства между человеком, стремящимся к правосудию, и убийцей, который одурманен лозунгами и партийными страстями. Далеко вы хватили, ничего не скажешь.

Мендель Гласс, казалось, и вправду забыл, что речь идет о нем самом.

— Правосудие, — сказал он. — Судьи! Это по-прежнему так же неприкосновенно, как и до войны? Несчетное множество приговоров во всех странах совершенно очевидно служит классовой борьбе — подавлению общего врага. Вы не заметили этого в Ирландии и в Индии? А вот мы в Польше, в Германии, в России очень даже заметили. Основу потребности человека в наказании, видимо, составляет глубинное стремление отомстить; когда один из нас, совершив преступление, оказывается безоружным в вашей власти, суровость судьи часто выглядит для нас, рабочих, как кровная месть нашему классу.

Эрмин слушал с большим интересом.

— Отличный финт — выставить злого общего врага. Но что бы ни выкопал ваш диалектический ум, дорогой друг, не стоит его напрягать. Нет смысла. Вам надо было заранее взвесить все за и против. Я ведь просто-напросто идущий по следу бульдог, который в конце концов отыскал добычу и теперь хватает ее. Послушайте же, кто был тот, кого вы втоптали в грязь! Послушайте, что я нашел в его мусорной корзине, на следующий день! «Дорогой Эрмин, — писал он мне, — в Тверии вы спросили меня, чего я, собственно, хочу. Того, чего хочет каждый порядочный писатель: правды во имя ее самой, справедливости во имя людей, милосердия во имя сообщества и любви во имя Господа. Мужества противостоять собственному народу и говорить ему, что с ним не так и чем он страдает» — вот примерно так. Я цитирую по памяти, но помню записку наизусть. Сразу после этих слов ты его убил. Ну, скажи что-нибудь, мальчик мой, но советую: с осторожностью...

— Мистер Эрмин, — сказал Мендель Гласс, и в эту минуту ему, кажется, было очень не по себе, — допустим, некий молодой человек совершил то, в чем вы меня обвиняете: опрометчиво застрелил противника. С тех пор произошло много кровавых событий; у этого молодого человека было время хорошенько поразмыслить; быть может, он видел, как умирает другой человек, и вы-

нес определенные впечатления, которых не мог забыть. Затем он выбрал довольно паскудную работу и с легкостью ее выдерживает — вам не кажется, что такому человеку было бы приятно сделать признание? Каждый ребенок, совершивший проступок, стремится к наказанию и искуплению, чтобы мама вновь стала добра к нему. Допустите на минуту, что порой такому человеку хотелось броситься к кому-нибудь и сказать: я тогда сделал то-то и то-то, вряд ли я четко понимал, что делаю; в десять лет я такого нипочем бы не совершил, равно как и сегодня. Что же, по-вашему, не дает этому человеку открыть рот?

— Трусость! — хрипло вскричал Эрмин. — Беспардонная трусость! Вы, одуревшие парни нашего благословенного десятилетия, стреляете в человека, который стоит десятка таких, как вы, а когда задним числом вас наконец-то одолевают сомнения, используете их для красоты, словно барышня макияж.

Мендель Гласс тяжело дышал.

— Значит, по-вашему, такой человек молчит не затем, чтобы избавить общество, которое он представляет, от груза своего поступка?

— Нет, — мрачно сказал Эрмин, — я не разделяю столь приукрашенную точку зрения. Повешение имеет свои неприятные стороны, сэр.

— В какой стране мира вешают за политическое убийство, в бурные времена, непосред-

ственно перед восстанием? Такой человек получил бы максимум тюремный срок, сэр, и черт его знает, не тяжелее ли труд на Мертвом море, например, в нынешнем сентябре, чем исправительные работы в Акко или где еще.

— Все равно, — вскричал Эрмин, — все равно, мистер, довольно! Улик у меня нет, я ничего не могу доказать. Пусть приговор вынесет Бог или Мертвое море. Сейчас вы прыгнете за борт — неважно, умеете вы плавать или нет, — и попытаетесь доплыть до берега. Доплывете — ладно; наглотаетесь воды — тоже; сдохнете — тем лучше. Приговор обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение сию же минуту. Все, Гласс, стоп, машина, прошу за борт.

Мендель Гласс глядел на него пытливыми глазами, в их глубине читалась насмешка, а ведь всего минутой раньше они смотрели беспомощно.

— Вы уничтожаете насилие насилием, сэр. Вероятно, вы сильнее, и я уступаю. Ударите меня веслом по голове, как только я вылезу из лодки?

— За борт, мерзавец! — гаркнул Эрмин вне себя и вскочил на ноги, лодка отчаянно закачалась, секунду-другую он изо всех сил старался удержать равновесие. А когда огляделся, рядом никого не было. В рубашке и брюках, уже в трех метрах от лодки, Мендель Гласс плыл к берегу.

Встречный ветер дул ему в лицо, до берега несколько сотен метров. Эрмин следил за ним взглядом. Негодование улеглось, спортивный азарт с каждой секундой разгорался все сильнее. Парень плыл хорошо, дышал, кажется, правильно. Эрмин с удовольствием проводил бы его на лодке, чтобы видеть, как он по всем правилам дышит, лежа на груди. Делать вдох, когда руки соединяются под грудной клеткой, а торс поднимается над водой, здесь это означало куда больше, чем где бы то ни было, — означало благоразумие, которое спасает жизнь. Ему нужно учитывать еще и волны, резкие взлеты металлического раствора, который теперь, словно кулаками, толкал и раскачивал лодку. О, от модного кроля мистеру Глассу наверняка не было бы толку; он знал, как надо двигаться в древних водах! Да, мистер Гласс — ловкий парень, одежда ему почти не мешала, Соленое море пришло на помощь, судья Ям га-Мелах оправдал его. Короткими гребками направляя лодку к берегу, Эрмин увидел, как он выбрался на причал. Прошло минут двадцать, может, чуть больше, часы Эрмина тикали в машине. Под конец мистер Гласс, пожалуй, изрядно приустал, получилось не так быстро. Сейчас он мокрый сидел на солнце, спустив ноги с причала, небольшая фигура его рисовалась очень четко. Потом он заслонил глаза рукой и против солнца поискал взглядом лодку. Эрмин

Арнольд Цвейг. Возвращение в Дамаск

подплывал медленно. Не хотел больше встречаться с этим человеком. Он был оправдан, дух времени спас его. Пусть бежит, думал Эрмин. В нем вдруг всколыхнулся желчный юмор. У этого парня впереди еще долгая жизнь, у возмездия много времени, чтобы настичь его. Беги, мистер Гласс, думал он, от Ям га-Мелах ты ускользнул, от моей руки тоже, мандатарная держава не станет тебя обвинять, но, любезный друг мой, что-нибудь тебя да настигнет, пусть даже только совесть в день твоей смерти. А сейчас я бы не отказался от своего табачку; н-да, чего-нибудь всегда недостает.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

БЫТЬ ПОГРЕБЕННЫМ В ИЕРУСАЛИМЕ

Когда в горных местах солнце прячется за тучами, сразу становится довольно прохладно. Тогда блеск на предметах гаснет, камни становятся грубыми камнями, пыль выглядит грязной, а привядшие растения, ожидающие дождя, стоят унылые, придавая рощам и живым изгородям убогий вид. Тучи?

Тучи плывут по небу Иерусалима. Каждый человек в городе смотрит на них, прикидывает, достаточно ли они низкие, чреватые влагой, разверзнутся ли над городом или уйдут на восток и над пустыней, вновь нагретые, поднимутся ввысь, бесполезно растают и унесутся прочь, чтобы долгим кружным путем, быть может, вернуться сюда еще раз. Ведь цистерны почти опустели, время суши должно закончиться, терпеть уже нет мочи, пусть наконец пойдет дождь. Евреи в поселениях Иудеи, в долине Шарон, в Иорданской впадине или высоко в горах Цфата, Метулы, арабские феллахи

меж Беэр-Шевой и Галилеей, жители побережья Яффы, кипящего жизнью Тель-Авива, зачарованного Акко, трудящейся Хайфы — все смотрят в небо и гадают: пойдет ли наконец дождь? Скоро ли? Обильно ли? Вспухнут ли бурыми потоками реки, превратившиеся сейчас в каменистые вadi, окрасится ли море у Хайфы в светло-коричневый цвет от земли, которую Кишон несет в бухту? Щедро ли, умеренно или скудно сезон дождей одарит влагой банановые плантации, апельсиновые рощи, грейпфруты, овощи, зерновые, виноградники? Душа страны — в почве. Души всех людей связаны с этой почвой, с тех пор как они начали взрывать ее, мотыжить, осушать, орошать, да что там, они были связаны с нею еще задолго до этого. Каждый еврей, пока правили религиозные законы, имел лишь одно стремление: упокоиться в этой земле. Из паломничества можно было каждому привезти бесценный подарок: мешочек палестинской земли. Великий миф повествует, что странствие евреев не завершается и в могиле, что, где бы ни были похоронены, они погружаются вглубь, пока их не подхватывают подземные реки и не уносят в землю отцов, там они находят покой, оплодотворяют эту землю, шлют посланцев наверх, к свету, — алые анемоны весной, высокие травы, нарциссы, плодовые деревья, необычные растения: японский перец,

клещевину, множество видов кактусов, виноградную лозу и пальму.

Кладбище иерусалимских евреев простирается вверх по Масличной горе, огромный некрополь тянется наискось по склону, не сравнимый ни с каким другим на свете. Теперь, когда вот уж пять месяцев не упало ни капли дождя, он выглядит голым — великое множество четырехугольных плит, кучки камешков на могилах, дорожки меж ними. Но мертвые покоятся внизу, огромное сборище, и они знают: нигде нет для них лучшего погребения, чем в этом месте, в этом городе. Евреев должно хоронить вне стен, так требует Закон, и они лежат вне своих стен, пока этот Закон действует.

Несколько дней назад на одной из могил воздвигли новый камень, новую плиту, для человека, которого при жизни звали Ицхак-Йосеф де Вриндт и о невыясненном деле которого в связи с установкой этой плиты снова вспоминают — вскользь, не слишком всерьез, ведь минул уже год, есть дела поважнее. Пойдет ли дождь или нет, сильный или нет, — вот что важнее.

Минувший год был полон волнений — еврейский бойкот, арабский бойкот, бурная деятельность обеих исполнительных властей и их адвокатов в британской следственной комиссии, которая тщательнейшим образом изучает

причины последних беспорядков. А между тем жизнь продолжается; как обстоит с экономикой Палестины в условиях ширящегося мирового кризиса? Евреи проверили свое положение и нашли, что серьезного ущерба не понесли, наоборот, сейчас тем более, говорят они и поступают соответственно. Сплачиваются по всей стране; город Иерусалим, город Тель-Авив расцветают, население Хайфы вот-вот достигнет ста тысяч, город Цфат, город Яффа переживают существенный спад. Строятся новые кибуцы, приобретается новая земля, высаживаются новые деревья, рождаются новые дети. Здешняя земля может прокормить множество людей, окрестные территории еще совершенно не освоены; в Сирии, в Трансиордании места полно, для детей феллахов тоже хватит пространства. В политике много чего произошло, назначены новый Верховный комиссар, новый губернатор Иерусалима, и снова споры, снова обоюдные подозрения, борьба за каждый пункт своих прав. Но евреи, сами того не желая, ввели новое летосчисление. «Тогда, — говорят они, — до беспорядков» и «сейчас, после беспорядков». На эти два времени распадается теперь короткая история новой Палестины, и так останется еще несколько лет.

Но де Вриндта, чью плиту они установили, мало кто посещал, и раньше, и позднее. Плиту установили его друзья, рабби Цадок Зелигман

и его ешива, и они очень плакали, когда молились: «Да возвысится и освятится Твое великое имя». Рабби постарел. Многих друзей отнял у него этот август. Началось с де Вриндта; ради веры ушли из жизни богобоязненные мужи в Хевроне, в Цфате и освятили имя Господа, как в прежние времена: раввины и ученики приняли смерть, да славится имя Господа. Но нет более честолюбца, который бы подталкивал «Агуду» в центр событий; «Агуда» довольствуется малым, борется с новым духом среди детей давних переселенцев и пытается одновременно его направлять, с радостью замечая, как в умах иных молодых сионистов Тора становится зародышем образа жизни евреев в этой стране, ищет и найдет связь с этими кругами. Да, рабби Цадок Зелигман и его друзья шли по кладбищу и вели разговоры, которые у усопшего де Вриндта, пожалуй, вызвали бы отвращение; но много говорить о нем они более не осмеливаются, ведь, как выяснилось, он в самом деле водил дружбу с арабским мальчиком, высказывал в своих стихах ужасающие кощунства и очень и очень нуждается в милости Вечного, чтобы присоединиться к блаженным праотцам, и очищение его будет очень долгим. Да, каббалисты среди единомышленников рабби Цадока Зелигмана в старинной синагоге великого цфатского раб-

би Ицхака Лурии*, которого называют просто Ари, сиречь Лев Духа и Господа, — эти верующие в духовное возрождение и тайну обдумывают и исследуют, какие круги странствия назначены мятущейся душе рабби Ицхака-Йосефа де Вриндта, сиречь унижения и постепенные очищения *гильгуля*, странствия души, и надеются в великих умерщвлениях плоти, окроплениях и ревностных медитациях посылать ему силы из собственной души, дабы его избавление наступило скорее.

В сумерках, перед самым закрытием, кладбище покинул молоденький арабский парнишка, упрямо закусив губы, в тарбуше на голове. Привратник не припомнит, чтобы видел, как он пришел. А он перелез через стену по другую сторону Масличной горы и лишь с большим трудом отыскал могилу Ицхака-Йосефа де Вриндта. К счастью, он еще не забыл, как читать еврейские письмена, которым научил его Отец Книг, в особенности с его именем он много практиковался, чтобы оно не выпало из памяти. Мальчик сильно вырос, ростом он почти сравнялся с братом Мансуром, учителем, на верхней губе проступают усики, темный пушок окаймляет смуглые щеки. Но глаза еще по-детски нежные и ласковые, а сердце исполнено благодар-

* Лурия Ицхак бен Шломо (Ари) (1534–1572) — еврейский мистик, одна из крупнейших фигур в каббале.

ности. Он прочел молитвы, какие верующим арабам надлежит читать у могил, суры Корана, восхваляющие Всемилоственного, и написал на новой плите, в таком месте, которое сразу не отыщешь, арабскими буквами «Абу эль-Китаб»* и формулу «Нет силы и власти кроме как у Аллаха», сокращенную, как в талисманах, — написал карандашом, внизу, справа, и засыпал камешками. Впрочем, он стал благоразумнее, как считает его отец, глупости, какими он занимался с покойным, больше его не привлекают, он становится мужчиной, брат Мансур это еще почувствует. Он смотрит на солнце, вернее, на то место, где его скрывает облако, плотнее кутается в одежду и покидает кладбище через калитку. Привратник? Что неуклюжий привратник может сделать с проворным подростком? И вообще: с каких пор мусульманам запрещено ступать на еврейское кладбище?

Затем, еще через день, у кладбищенской калитки останавливается маленький светлый автомобиль. Англичанин просит привратника проводить его через лабиринт кладбищенских дорожек и отправляет с бакшишем прочь, хотя старик уходит с неохотой, ему хотелось бы знать, что привело англичанина, конечно же христианина, к этой могиле.

* Отец Книг (араб.).

Да, полурассеянно думает Эрмин, что, собственно, влечет меня к этой могиле? Он смотрит на камни, на холм, на новую белую плиту с надписью. Думает: старых друзей надо время от времени навещать; наверное, все дело в этом. Его жизнь тоже в корне изменилась. Он действительно поехал в отпуск, провел в Англии много долгих недель, прожитых полной жизнью, познакомился в Лондоне с хорошенькой, здоровой и умной девушкой, которая в конце концов согласилась поехать с ним в Иерусалим, не изображать секретаршу при некоем финансисте, а стать миссис Эрмин и работать для мужа, готовить письменные документы, какие он сочтет нужным подать своему начальству. С тех пор таких документов прибавилось, и, как утверждает начальство, они стали лучше; мистер Эрмин, видимо, намерен сделать карьеру, потому что по-британски умело обходится с непростыми здешними людьми, со всеми этими группировками и фракциями. Да, думает он, жизнь продолжалась, я заставил вашего убийцу выплывать, де Вриндт, вы-то понимаете, не всегда можно жить согласно букве закона, и моя память о вас от этого не страдает. Я верю в великое возмездие, что-нибудь непременно случится, а если нет, мы можем лишь делать свою работу, со всей возможной честностью и добровольностью. Кстати говоря, у нас будет ребенок, он родится в этой

стране, и я надеюсь, ему выпадет лучшая судьба, нежели вам, хоть он и не будет столь одарен, как вы.

Затем мистер Эрмин надевает пальто, стало чертовски прохладно, вероятно, пойдет дождь, еще до того как он на своем проворном автомобиле доберется домой, в комнату, уютную комнату, где его ждет к чаю миссис Эрмин.

А де Вриндт лежит под своим холмиком в земле, и с ним дело обстоит лучше, чем когда-либо. Он лежит там расслабленно, в прямом смысле слова распавшись на составные части, и шлет свою субстанцию, свои молекулы и клетки, из коих был построен, вверх, к корням и корешкам растений, которые, невзирая ни на что, ощупью пробились вглубь, к нему, и только ждут ливня, чтобы расти, цвести, рассыпать семена. Его мозг уже не в черепе, индивидуальность, уникальная сущность, в которую он врос не по своей воле, чуждый сам себе, препятствия, что его сдерживали, импульсы, что им двигали, — все становится плодородием, помогает строить страну, стремится вновь очутиться под синим небом и наперегонки с анемонами взвихрить новые пляски атомов, вновь кружиться, сплетаться, рассыпаться. Он смеется, скаля желтоватые зубы, кости его еще долго будут в должном порядке лежать в этой плотной, известняковой почве, пока тоже не сгниют, не истлеют, не рас-

падутся. Да, таков путь всякой плоти, и она проходит его охотно, ибо ею движет великий закон жизни, против которого восстала лишь неимоверная воля египтян, когда от страха перед брэнностью они отважились на прыжок в увековечение, принесший им бессмертие — в музеях, бессмертие витрин и нарушенного покоя. Его же, Ицхака-Йосефа де Вриндта, никто в витрину не положит, ибо его сопротивление пресеклось, когда с его губ слетело последнее «нет».

Ветер свищет, воеет, пылит; темные сизые тучи опускают свои тяжелые животы на края гор, минареты, церковные башни, зубцы Иерусалима, который арабы называют Эль-Кудс, Святой. И вдруг обрушивается дождь, первый дождь этого года, обрушивается как взрывная стихия, которой более нет удержу. Шквалами он хлещет на могилы, разлетается брызгами во все стороны, в мгновение ока заливает дорожки бурными ручьями, которые почва жадно впитывает. За секунды смывает пятимесячную пыль с вечнозеленых олив, пальм и кактусов, наполняет воздух сумасшедшим серебряным падением; ветер с плеском швыряет его на стены, он бешено барабанит по плоским крышам, великолепно промывает своими пресными водами переулки, дворы. Полуголые дети выбегают на улицу. «Дожди!» — кричат они на языках этой страны.

«Гешем!» — слетает с еврейских губ, «Матар!» — с арабских. Земля с жадностью пьет. Дождь проникает в гроб к усопшему, промывает его останки. Череп смеется.

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЬ ЧЕРЕПОВ

Восславим жизнь, что сотворила нас,
Букашку, что ползла в недобрый час,
Подкову, что букашку раздавила,
И лошадь, что подкову опустила.
Благословен будь белый человек,
Дающий наставленья темнокожим.
Благословен будь наш машинный век,
Когда деянья духа мы размножим.
Жизнь как волна: накатит и уйдет,
Сметая смех, веселье, отвращенье...
Восславим же поэта за творенья,
Где он о смысле жизнь речь ведет:
Рождайтесь счастливо, трудитесь и страдайте,
Потом почайте в Бозе и сгнивайте.

ОБ АВТОРЕ

Арнольд Цвейг — видный немецкий писатель, публицист, общественный и культурный деятель — родился в 1887 г. в г. Глогау. Образование он получил в целом ряде университетов Европы — в частности, в Бреслау (ныне польский Вроцлав), Мюнхене, Берлине, Гёттингене, Росток, Тюбингене, — изучал современные языки, философию, историю, психологию, историю искусств и экономику. В годы Первой мировой войны А. Цвейг служил в немецких строительных частях в Сербии и Франции, затем — в информационном отделе штаба Восточного фронта. После войны, которая поставила перед ним как писателем множество важных общественных проблем, он отходит от тематики своих ранних произведений, рассказывавших о частной жизни буржуазной семьи, и обращается к созданию большого цикла романов, посвященных актуальнейшим социально-политическим вопросам современности, прежде всего — теме империалистической войны. Из этого цикла «Великая война белых людей» («Der grosse Krieg

der weissen Männer», 1926–1957) наиболее популярны три первых романа: «Спор об унтере Грише» («Der Streit um den Sergeanten Grischa», 1927), «Воспитание под Верденом» («Erziehung vor Verdun», 1935) и «Молодая женщина 1914 года» («Junge Frau von 1914», 1931). В 1919–1923 годах Цвейг жил как свободный писатель на Штарнбергском озере, затем переехал в Берлин, где возглавил редакцию журнала «Еврейское обозрение» («Jüdische Rundschau»). В 1933 году после прихода Гитлера к власти А. Цвейг через Чехословакию, Швейцарию и Францию эмигрировал в Палестину, где сотрудничал во многих эмигрантских газетах и журналах, а также был одним из издателей журнала «Восток» («Orient», Хайфа, 1942–1943 гг.). В 1948 г. он вернулся в Берлин и до своей кончины жил в ГДР. В 1950–1953 годах был президентом Академии искусств ГДР и депутатом Народной палаты. Почти полностью ослепнув от последствий несчастного случая, происшедшего в годы эмиграции, А. Цвейг умер в 1968 г. в Берлине.

Творчество А. Цвейга отмечено несколькими премиями: в 1915 г. он получил премию им. Клейста за драму «Ритуальное убийство в Венгрии. Еврейская трагедия» («Ritualmord in Ungarn. Jüdische Tragödie», 1914); в 1950 г. был удостоен Национальной премии ГДР, а в 1958-м — Ленинской премии мира.

Роман «Возвращение в Дамаск» написан в 1932 г., вскоре после поездки в Палестину. В основе его сюжета лежит реальный инцидент — убийство еврейского писателя де Хаана, случившееся в Иерусалиме в 1924 г., а действие происходит в обстоятельствах, сложившихся тогда в силу установления британского мандата над Палестиной и растущей еврейской иммиграции. Книга отчетливо отражает мировоззренческую позицию автора незадолго до прихода фашистов к власти в Германии. После Первой мировой войны А. Цвейг под влиянием религиозных и культурно-философских идей Г. Ландауэра, Ф. Оппенгеймера и М. Бубера стал называть себя «сионистским социалистом», тем самым поддерживая сионистскую идею еврейского национального государства в Палестине, хотя и не вполне принимая националистский сионизм еврейской буржуазии. Впечатления от поездки в Палестину усилили у писателя неприятие еврейско-буржуазного политического радикализма, который он подвергает в романе резкой и меткой критике, но, с другой стороны, именно здесь (в образе Эрмина) заметны его тогдашние иллюзии касательно роли западных демократий в разумном урегулировании политических противоречий в Палестине.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая

УЧЕНЫЙ В ОДИНОЧЕСТВЕ

Глава первая. Друг его друзей	7
Глава вторая. Неудача	27
Глава третья. Предостережение.	38
Глава четвертая. Сквозная трещина	61
Глава пятая. Ратники Божии	74
Глава шестая. Ночью	89
Глава седьмая. Симпатия людей	98
Глава восьмая. С позиций наместника	109
Глава девятая. Мудрость старейшин	119

Книга вторая

ВЫСТРЕЛЫ В ИЕРУСАЛИМЕ

Глава первая. Верстка	137
Глава вторая. Неприятности	147
Глава третья. Опровержение	156
Глава четвертая. Продолговатый предмет	169
Глава пятая. Домой в Дамаск	179
Глава шестая. Жертва араба	193

Глава седьмая. Союзники	201
Глава восьмая. Бесконечные разговоры	212
Глава девятая. Ночная прогулка	224

Книга третья

МИРОМ ПРАВЯТ УДАР И КОНТРУДАР

Глава первая. Последний сигнал Нельсона	239
Глава вторая. Взрыв	254
Глава третья. След	270
Глава четвертая. Неизвестность	279
Глава пятая. Смерть старика	297
Глава шестая. Письмо	313
Глава седьмая. Taedium vitae	332
Глава восьмая. На Мертвом море	354
Глава девятая. Быть погребенным в Иерусалиме	373
 <i>Прощальная песнь черепов</i>	 385
<i>Об авторе</i>	387

Цвейг А.

Возвращение в Дамаск : роман / Арнольд Цвейг ; Пер. с нем. Н. Федоровой. — Москва : Книжники, 2018. — 392[8] с. — (Проза еврейской жизни).

ISBN 978-5-9953-0569-9

Арнольд Цвейг (1887–1968) — немецкий писатель и общественный деятель, годы гитлеровского режима провел в эмиграции, в Палестине, где занимался журналистикой; в 1948 г. вернулся в Германию. Широко известны его романы о Первой мировой войне («Спор об унтере Грише», «Воспитание под Верденом»).

Роман «Возвращение в Дамаск» написан в 1932 г. и рассказывает о событиях в Палестине конца 1920-х гг., когда там происходили серьезные столкновения между арабами и еврейскими поселенцами. Главный герой книги — Ицхак-Йосеф де Вриндт, раввин, поэт и философ, человек со своими страстями, мечтаниями и сомнениями. Отчасти детективный сюжет предлагает читателю самому разобраться, какая из версий трагедии окажется правдивой: политика, межнациональная рознь или личные взаимоотношения.

УДК 821.112.2
ББК 84 (4Нем)

ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Арнольд ЦВЕЙГ

Возвращение в Дамаск

Роман

Редактор Т. Некрасова

Корректоры О. Канунникова, А. Наконечная

Компьютерная верстка Е. Чернышева

16+

Подписано в печать 10.01.2018. Формат 70 х 100/32.

Усл. печ. л. 16,25. Тираж 1000 экз.

Заказ №12183.

Издательский дом «Книжники»

127055, Москва, ул. Образцова, д. 19, стр. 1

Тел. (499) 754-50-05

E-mail: id@knizhniki.ru

www.knizhniki.ru

Отпечатано в типографии ООО «ТДДС-Столица-8»

Тел.: (495) 363-48-86 <http://capitalpress.ru>

В серии
ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

ВЫШЛИ:

Шмуэль-Йосеф АГНОН. Вчера-позавчера
Шмуэль-Йосеф АГНОН. До сих пор
Шмуэль-Йосеф АГНОН. Под знаком Рыб
Шмуэль-Йосеф АГНОН. Путник, зашедший
переночевать
Шмуэль-Йосеф АГНОН. Рассказы о Бааль-Шем-Тове
Аарон АППЕЛЬФЕЛЬД. Катерина
Шолом АШ. Америка
Шолом АШ. За веру отцов
Джорджо БАССАНИ. В стенах города
Джорджо БАССАНИ. Сад Финци-Контини
Дэвид БЕЗМОЗГИС. Наташа
Юрек БЕКЕР. Дети Бронштейна
Юрек БЕКЕР. Яков-лжец
БЕЛАЯ ШЛЯПА БЛЯЙШИЦА. Сборник рассказов
Сол БЕЛЛОУ. Серебряное блюдо
Давид БЕРГЕЛЬСОН. Отступление
Филипп БЛАСБАНД. Книга Рабиновичей
Робер БОБЕР. Что слышно насчет войны?
Мириам БОДУЭН. Хадасса
Е. М. БРОНЕР. Рассказы с того света
В ОБЛУПЛЕННУЮ ЭПОХУ. Сборник рассказов
Эли ВИЗЕЛЬ. День
Эли ВИЗЕЛЬ. Завещание убитого еврейского поэта
Эли ВИЗЕЛЬ. Ночь
Эли ВИЗЕЛЬ. Рассвет
Юлия ВИНЕР. Место для жизни
Нина ВОРОНЕЛЬ. В тисках — между Юнгом
и Фрейдом
Михаил ГЕНДЕЛЕВ. Великое [не]русское путешествие
Семен ГЕХТ. Пароход идет в Яффу и обратно
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Бердичев
Хаим ГРАДЕ. Немой миньян
И. ГРЕКОВА. Свежо предание

Давид ГРОССМАН. См. статью «Любовь»
Жан-Клод ГРЮМБЕР. Дрейфус... и другие пьесы
Аллегра ГУДМАН. Семья Марковиц
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ЛОНДОНЕ. Рассказы английских писателей
ДЕР НИСТЕР. Семья Машбер
Дэн ДЖЕЙКОБСОН. Богобоязненный
Вильгельм ДИХТЕР. Олух Царя Небесного
Лиззи ДОРОН. Почему ты не пришла до войны?
Александр ДОБРОВИНСКИЙ. Одесские рассказы московского адвоката
Джессика ДЮРЛАХЕР. Дочь
Владимир ЖАБОТИНСКИЙ. Пятеро
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Люблинский штукать
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Папин домашний суд
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Раб
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Раскаявшийся
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Сатана в Горае
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Семья Мускат
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Страсти
Исроэл-Иешуа ЗИНГЕР. Семья Карновских
Исроэл-Иешуа ЗИНГЕР. Станция Бахмач
Исроэл-Иешуа ЗИНГЕР. Чужак
А.-Б. ИЕГОШУА. Смерть и возвращение Юлии Рогачевой
Натан ИНГЛАНДЕР. О чем мы говорим, когда говорим об Анне Франк
Вера ИНБЕР. Смерть луны
Алан ИСЛЕР. Живое свидетельство
Алан ИСЛЕР. Принц Вест-Эндский
Ханс КАЙЛЬСОН. Смерть моего врага
Дина КАЛИНОВСКАЯ. О суббота!
Феликс КАНДЕЛЬ. Может оно и так...
Григорий КАНОВИЧ. Местечковый романс
Григорий КАНОВИЧ. Очарование сатаны
Аркан КАРИВ. Однажды в Бишкеке
Даниэль КАЦ. Как мой прадедущка на лыжах прибежал в Финляндию

Этгар КЕРЕТ. Когда умерли автобусы
Имре КЕРТЕС. Без судьбы
КИПАРИСЫ В СЕЗОН ЛИСТОПАДА. Рассказы
израильских писателей
Ханна КРАЛЬ. опередить Господа Бога
Моисей КУЛЬБАК. Зелменяне
Александр ЛАСКИН. Мой друг Трумпельдор
Норман ЛЕБРЕХТ. Песня имен
Примо ЛЕВИ. Передышка
Примо ЛЕВИ. Периодическая система
Примо ЛЕВИ. Человек ли это
Дойвбер ЛЕВИН. Десять вагонов
Дойвбер ЛЕВИН. Лихово
Ирина ЛЕВИТЕС. Боричев Ток, 10
Михаил ЛЕВИТИН. Еврейский бог в Париже
Эли ЛЮКСЕМБУРГ. Десятый голод
Бернард МАЛАМУД. Бенефис
Ицхокас МЕРАС. Ничья длится мгновение
Израиль МЕТТЕР. Пятый угол
Артур МИЛЛЕР. Фокус
Самми МИХАЭЛЬ. Виктория
МУЖСКАЯ СИЛА. Сборник рассказов
Дэвид МЭМЕТ. Древняя религия
Ирен НЕМИРОВСКИ. Давид Гольдер
Элиза ОЖЕШКО. Миртала
Синтия ОЗИК. Путермессер и московская
родственница
Синтия ОЗИК. Шаль
Иосиф ОПАТОШУ. В польских лесах
Карой ПАП. Азарел
Грейс ПЕЙЛИ. Мечты на мертвом языке
ПО ЭТУ СТОРОНУ ИОРДАНА. Рассказы русских
писателей, живущих в Израиле
Цви ПРЕЙГЕРЗОН. В лесах Пашутовки
Цви ПРЕЙГЕРЗОН. Когда погаснет лампада
Мордехай РИХЛЕР. Всадник с улицы Сент-Урбан
Мордехай РИХЛЕР. Здесь был Соломон Гурски
Мордехай РИХЛЕР. Кто твой враг

Мордехай РИХЛЕР. Улица
Франсин ПРОУЗ. Изменившийся человек
Йозеф РОТ. Иов
Филип РОТ. Американская пастораль
Филип РОТ. По наследству
Филип РОТ. Прощай, Коламбус
Бернис РУБЕНС. Я, Дрейфус
Габор Т. САНТО. Обратный билет
Лора СЕГАЛ. Полкоролевства
Лора СЕГАЛ. У чужих людей
Дан Витторио СЕГРЕ. Мемуары везучего еврея
Далия СОФЕР. Сентябрь Шираз
Юлиан СТРЫЙКОВСКИЙ. Аустерия
Ивлин ТОЙТОН. Современное искусство
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ БАСИ СОЛОМОНОВНЫ. Рассказы
Джонатан УИЛСОН. Палестинский роман
Элейн ФАЙНСТАЙН. Дети Розы
Говард ФАСТ. Торквемада
Сирилл ФЛЕЙШМАН. Встречи у метро «Сен-Поль»
Карла ФРИДМАН. Два чемодана воспоминаний
Стефан ЦВЕЙГ. Погребенный светильник
Джером ЧАРИН. Смуглая дама из Белоруссии
Меир ШАЛЕВ. В доме своем в пустыне...
Меир ШАЛЕВ. Голубь и Мальчик
Меир ШАЛЕВ. Дело было так
Меир ШАЛЕВ. Как несколько дней...
Меир ШАЛЕВ. Русский роман
Меир ШАЛЕВ. Фонтанелла
Меир ШАЛЕВ. Эсав
Андре ШВАРЦ-БАРТ. Утренняя звезда
Майкл ШЕЙБОН. Окончательное решение, или Разгадка
под занавес
Светлана ШЕНБРУНН. Пилюли счастья
Яков ШЕХТЕР. Ведьма на Иордане
Сара ШИЛО. Гномы к нам на помощь не придут
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. Касриловка
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. Мальчик Мотл
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. Тевье-молочник

Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ. Герберт и Нэлли
Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ. Кругосветное счастье
Бруно ШУЛЬЦ. Уцелевшее
Анджей ЩИПЁРСКИЙ. Начало, или Прекрасная
пани Зайденман
Асар ЭППЕЛЬ. Сладкий воздух
Лесли ЭПСТАЙН. Сан-Ремо-Драйв
Нора ЭФРОН. Оскомина



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КНИЖНИКИ»

Мировая еврейская литература

Интернет-магазин издательства:

www.knizhniki.ru

Постоянная экспозиция в издательстве:

127055, Москва, ул. Образцова, д. 19/2

Тел. (499) 754-50-05

Магазины еврейской книги

в Москве:

Еврейский музей и центр толерантности

ул. Образцова, д. 11, стр. 1а

Тел. (495) 645-05-50

ул. Большая Бронная, д. 6, 1-й этаж

2-й Вышеславцев пер., д. 5а, 3-й этаж

в Санкт-Петербурге:

Лермонтовский пр-т, д. 2

sinagoga.spb@gmail.com

Тел. (812) 713-81-86

в Одессе:

Магазин еврейской книги

ул. Еврейская, д. 25

Тел. + 38 (0) 937 06 8854

Магазин университетской книги

«Остров послезавтра»

ул. Еврейская, д. 13

Тел. + 38 (0) 506 53 2203; + 38 (0) 487 70 0748

Синагога Хабад Одесса

ул. Осипова, д. 21

